

В. Г. Белинский

# Русская литература в 1843 году



# Виссарион Григорьевич Белинский

## Русская литература в 1843 году

*Текст предоставлен правообладателем.  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2824525](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2824525)*

### **Аннотация**

Белинский начинает с утверждения, что литература находится в состоянии кризиса, книг выходит так мало, что нечего читать. Некоторые объясняют создавшееся положение тем, что толстые журналы поглощают книги. Критик определяет причины «кризиса» литературы значительно глубже. Дело в том, что читатель сороковых годов предъявляет к литературе более высокие требования, чем читатель двадцатых годов. И «литературные сокровища» той эпохи теперь уже не могли бы никого удовлетворить. За два десятилетия русская литература совершила громадный скачок в своем развитии.

# Содержание

Примечания  
Комментарии

106

# Виссарион Григорьевич Белинский Русская литература в 1843 году

Литература наша находится теперь в состоянии кризиса: это не подвержено никакому сомнению. По многим признакам заметно, что она, наконец, твердо решилась или принять дельное направление и недаром называться «литературою», или, как говорит у Гоголя Иван Александрович Хлестаков, *смертию окончить жизнь свою*. Последнее обстоятельство, прискорбное для всех, было бы очень горестно и для нас, если б мы не утешали себя мудрою и благородною поговоркою: *все или ничего!* В смиренном сознании действительной нищеты гораздо больше честности, благородства, ума и мужественного великодушия, чем в детском тщеславии и ребяческих восторгах от мнимого, воображаемого богатства. Из всех дурных привычек, обличающих недостаток прочного образования и излишество добродушного невежества, самая дурная – называть вещи не настоящими их именами. Но, слава богу, наша литература теперь решительно отстает от этой дурной привычки, и если из кое-каких литературных захолустий раздаются еще довольно часто самохвальные воз-

гласы, публика знает уже, что это не голос истины и любви, а вопль или литературного торгашества, которое жаждет при-бытков на счет добродушных читателей, или самолюбивой и задорной бездарности, которая в своей лености, апатии, в своем бездействии и своих мелочных произведениях думает видеть неопровержимые доказательства неисчерпаемого богатства русской литературы. Да, публика уже знает, что это торгашество и эта бездарность, по большей части соединяющиеся вместе, спекулируют на ее любовь к родному, к русскому – и свои пошлые произведения называют «народными», сколько в надежде привлечь этим внимание простодушной толпы, столько и в надежде зажать рот неумолимой критике, которая, признавая патриотизм святым и высоким чувством, по этому самому с большим ожесточением преследует лжепатриотизм, соединенный с бездарностью. Публика знает, что ей уже нечего искать в романах и повестях из русской истории или преданий старины, ибо она знает, что русская история и русская старина сами по себе, а таланты наших сочинителей и взгляд их на вещи – сами по себе, и что русский быт, исторический и частный, состоит не в одних только русских именах действующих лиц, но в особенностях русской жизни, развившейся под неотразимым влиянием местности и истории, – так же, как патриотизм состоит не в пышных возгласах и общих местах, но в горячем чувстве любви к родине, которое умеет высказываться без восклицаний и обнаруживается не в одном восторге от хорошего, но и в болез-

ненной враждебности к дурному, неизбежно бывающему во всякой земле, следовательно, во всяком отечестве. Больше же всего и яснее всего публика сознает, что ей нечего читать, несмотря на *восстание* и *воздвижение* разных непризванных оживителей и воскресителей русской литературы и несмотря на громкие возгласы их хвалителей. Это истина неоспоримая. Книгопродавцы то и дело выпускают в свет объявления о новых книгах, которые они издали и которые они намерены издать, – объявления, печатаемые на листах чудовищной величины, гигантским и мелким шрифтом, без политипажей и с политипажам, и с великолепными похвалами этим книгам, написанными книгопродавческим слогом; возвещаемые книги действительно выходят в свет и продаются по объявленным ценам, – а читателям от этого не легче, потому что читать все-таки нечего! Библиографы и рецензенты в отчаянии: им совсем нет работы, нечего разбирать, не над чем потрунить, да нечего и похвалить; в беллетрических книгах картинки хороши или сносны, а текст плосок до того, что не за что зацепиться; потом большая часть книг всё учебники, изредка хорошие, но чаще невинные и в добре и в зле. Отделение библиографии в журналах со дня на день теряет свою занимательность в глазах публики, которая всегда читала рецензию с большею жадностью, большим вниманием и большим удовольствием, чем самую книгу, на которую написана рецензия. Журналы также в отчаянии; им остается разбирать только друг друга: занятие невинное и забавное, кото-

рое, впрочем, едва ли может занять публику больше преферанса и домашних сплетней!

Куда ж девались наши книги? где же наша литература?

«Да их поглотили *толстые* журналы!» кричат со всех сторон. «Каких книг, какой литературы хотите вы, если любая книжка толстого журнала в состоянии поглотить в себя литературный бюджет целого года?»

А! вот в чем зло: толстые журналы виноваты!

Но сколько же у нас издается толстых журналов? – Два: «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения».

Попробуем поверить *фактически* справедливость этого *умозрительного* обвинения.

«Отечественные записки» состоят из *восьми* отделов, из которых целые *пять* совершенно невинны в поглощении русских книг; мы говорим об отделах «Современной хроники России», «Критики», «Библиографической хроники», «Иностранной литературы» и «Смеси», в которые никоим образом не могут войти статьи в книгу величиною или статьи, которые могли б быть изданы отдельно и не были рождены срочною и дневною потребностью журнала. В отделах: «Наук и художеств» и «Домоводства, сельского хозяйства и промышленности вообще» иногда входят статьи до того огромные, что могли бы составить порядочной величины книгу; таковы были в отделе «Наук и художеств» «Отечественных записок» 1841 года статьи «Альбигойцы и крестовые против них походы», «Греция в нынешнем своем со-

стоянии» (1841), «Гёте» (1842), «Средняя Азия, по новейшим исследованиям Гумбольдта» (1843) и др. и в отделе «Домоводства, сельского хозяйства и промышленности вообще» «Отечественных записок» 1842 года огромная статья г. Сабурова «Записки пензенского земледельца о теории и практике сельского хозяйства». Каждая из этих статей есть большая книга; но, во-первых, таких больших статей немного бывает в журналах; а во-вторых, они своим появлением в печати обязаны только журналу. Упомянутые статьи в отделе «Наук» – переводные или сокращенные из нескольких книг, изданных на иностранных языках: «Отечественные записки» никому не помешали бы перевести или составить их и издать в свет, тем более что некоторые из этих сочинений изданы были в подлиннике несколько лет назад, – и однакож, никто и не подумал приняться за них. А почему? – да потому, что в журнале их прочли все читающие журнал, а явись они отдельною книгою, то переводчик или составитель остался бы вознагражденным, издатель в убытке, и прекрасное сочинение было бы прочитано много-много несколькими десятками человек; для большинства же публики они остались бы вовсе неизвестными. И мало ли на французском и немецком языках хороших исторических сочинений, которые соединяют в себе ученость содержания с популярностью изложения? Кто же мешает их кому-нибудь переводить и издавать? Неужели толстые журналы? Ведь они, кажется, не пользуются правом монополии ка-

сательно переводов иностранных сочинений? Притом же все наши журналы, без исключения, грех обвинить в скорости и поспешности, с которою они представляли бы в переводах своим читателям новые учено-популярные иностранные сочинения и которая препятствовала бы кому-нибудь переводить и издавать их отдельно. Что же касается до статьи г. Сабурова, то и ей ничто не мешало явиться отдельною книгою, кроме разве естественного для книги желания – быть прочитанною не ограниченным числом присяжных любителей книг такого содержания, а целою публикою... Теперь остается один отдел, на который в особенности должно падать обвинение в поглощении книг и литературы: это отдел «Словесности», где помещаются стихотворения, повести и другие беллетрические статьи. Но, во-первых, стихотворений в нынешних журналах, и толстых и тонких, печатается немного, потому что посредственных никто не хочет читать, хорошие же редки, а превосходных, после Лермонтова, уже никто не пишет; во-вторых, в отделе «Словесности» помещаются не одни русские повести и романы, но и переводные, и самые большие всегда бывают переводные; в-третьих, ни тем ни другим никто не мешал бы являться отдельными книгами, если б они сами этого захотели, ибо, повторяем, толстые журналы не пользуются правом монополии для печатания оригинальных и переводных романов и повестей.

Все сказанное об «Отечественных записках» можно приложить и к «Библиотеке для чтения»: слишком большие ста-

ты и в ней помещаются изредка в отделах «Наук и художеств» и «Промышленности и сельского хозяйства», – чаще в отделе «Русской словесности», и очень часто в отделе «Словесности иностранной», где переделываются на русский язык иностранные повести и романы.

Многочисленны же должны быть русские книги и богата же должна быть русская литература, если они целиком поглощаются тремя отделами двух журналов, – тремя отделами, состоящими наполовину из *переводных* статей!!.

Однакож, скажут нам, до существования толстых журналов книг выходило гораздо больше!..

Это справедливо; но причина этого не в толстых и не в тонких журналах. Для книг ученого содержания у нас нет еще публики, и наши ученые, если б они много писали и много издавали, делали бы это для собственного удовольствия и сами были бы и читателями и покупателями собственных своих книг. Это факт, против очевидной действительности которого не устоят никакие фразы и возгласы, как бы ни были они великолепны. Ученая литература наша всегда была до того бедна, что странно было бы и называть ее литературою, как странно называть библиотекою шкаф с несколькими десятками разрозненных книг. Но прежде ученых книг выходило еще меньше, чем теперь. И все лучшее по этой части является теперь только или через прямое посредство правительства, или под его покровительством, особенно книги специального содержания, как то: исторические акты, сочи-

нения по части статистики, по части инженерной, горной, и т. п. Сочинения медицинские более независимы, и потому врачебная литература, в сравнении с другими, более богата, ибо в значительном (по числу своему) сословии врачей все же есть люди, более или менее следящие за ходом науки, которая по крайней мере дает им хлеб. Учебные книги у нас можно издавать только при условии, чтоб они были приняты в руководство в казенных учебных заведениях. В последнее время учебная литература обогатилась многими хорошими книгами, из которых первое место, по достоинству, занимают руководства, изданные для военно-учебных заведений. Итак, при всей бедности ученой и учебной литературы, настоящее время все-таки имеет большое преимущество перед прежним, когда истории г. Кайданова, географии Зябловского, грамматики г. Греча и риторики гг. Толмачева и Кошанского считались отличными учебниками. Что касается до собственно беллетристической литературы, или, как ее называют иначе, — *изящной словесности*, в прежнее время, то есть от двадцатых до сороковых годов, она казалась столь же богатою и процветающею, сколько теперь кажется бедною и увядающею. Но если она казалась богатою, из этого не следует, чтоб она и была богата в самом деле. В двадцатых годах публика была в восторге от избытка литературных сокровищ. Но в чем состояли эти сокровища? В крошечных альманахах, наполненных крошечными отрывками из крошечных поэм, крошечных драм, крошечных повестей,

которым, большею частию, никогда не суждено было явиться вполне, то есть с началом и концом. Вспомните, сколько, бывало, шума и радости производило появление «Северных цветов!»<sup>[1]</sup> А что было в них? Две-три новые пьесы Пушкина или Жуковского, которые, конечно, были бы всегда драгоценными перлами во всякого рода изданиях; но, вместе с ними, с восторгом равно детским читались, перечитывались, учились наизусть и переписывались в тетрадки стихотворения и других поэтов, из которых одни были точно с замечательными талантами, а другие вовсе без таланта, владея гладким стихом и модною манерою выражать бывшие тогда в моде чувства уныния, грусти, лени, разочарования и тому подобное. Сверх того, в «Северных цветах» были литературные обозрения г. Сомова, аллегории г. Ф. Глинки, даже статьи Владимира Измайлова. В наше время такие альманахи уже невозможны: и самые стихотворения Пушкина или Лермонтова не заставили бы никого заплатить десять рублей за маленькую книжечку, в которой, за исключением трех-четырех превосходных стихотворений, все остальное – или посредственность, или просто вздор. Мы не говорим о других альманахах, потянувшихся длинною вереницею за «Северными цветами», как то: «Урании», «Северной лире», «Невском альманахе», «Сириусе», «Царском селе» и многом множестве других. Что же выходило тогда, кроме альманахов? – Поэмки в стихах, которых теперь и названий нельзя вспомнить, равно как и имен их сочинителей; раз-

ные драматические произведения, теперь забытые вместе с именами их производителей, да еще безобразные и чудовищные переводы поэм и романов Вальтера Скотта вместе с глупыми романами виконта Дарленкура... В таком положении была наша литература от начала так называемого романтизма до 1829 года. Лучшие и многочисленнейшие статьи в тогдашних журналах, преимущественно в «Московском телеграфе», были переводные, а оригинальные большею частью состояли из отрывков. Стихи преобладали тогда над прозою и наводняли журналы и альманахи; в то же время стихи издавались и отдельными книжками, то под именем «поэм», то под именем «собраний сочинений» такого-то. И, несмотря на то, из замечательных поэтов никто не был издан в то время. «Горе от ума» ходило в рукописи по всем краям обширного русского царства. Стихотворений Пушкина была издана только небольшая книжка в 1826 году. Настоящее издание собрания сочинений Пушкина началось уже с 1829 года. Сочинения наиболее уважавшихся поэтов того времени, как то: Баратынского, Веневитинова, Языкова, Подолинского, Козлова, Давыдова, Дельвига, Полежаева, были изданы уже в тридцатых годах<sup>1</sup>. Итак, где же это богатство книжной производительности двадцатых годов, которое уличило бы наше время в литературной бедности? Это богатство было мнимое, призрачное; оно заключалось в новизне, кото-

---

<sup>1</sup> За исключением только первой части сочинений Веневитинова; изданной в 1829 году.

рая добродушно принималась в то время за гениальность, в отрывках, которые считались за целые великие творения, на честное слово сочинителей, – в потоке стихов, которые, благодаря гладкости, сладостной лени и унылому раздумью, принимались за поэзию. И это множество стихов являлось не оттого, чтобы поэты того времени писали много, но оттого, что слишком много поэтов писало в то время. Десять тысяч стихотворцев, написав каждый по десятку стихотворений, подарят свет такую громадою стихов, в сравнении с которою полное собрание сочинений таких плодовитых поэтов, как Байрон, Гёте, Шиллер, будет небольшая книжечка. наших поэтов грех обвинять в плодовитости: это грех, в котором они решительно невинны. Сам Пушкин, деятельнейший и плодовитейший из всех русских поэтов, писал слишком мало и слишком лениво в сравнении с великими европейскими поэтами. Но это, конечно, была не его вина: наша действительность не слишком богата поэтическими элементами и немного может дать содержания для вдохновений поэта, – так же как наш плоский материк, заслоненный серым и сырым небом, немного может дать видов для пейзажного живописца. Пушкин, впрочем, взял все, что мог взять. Но что сделали другие поэты, вместе с ним вышедшие на литературное поприще? Один из них представил публике собрание многолетних поэтических трудов в двух томиках, другие – в одном миньютюрном томике. Зато все они были изданы очень красиво и с большими пробелами. Скажут: «но ведь

достоинство поэта измеряется качеством, а не количеством написанного им». Иногда, и чаще всего, тем и другим, – отвечаем мы. Источник поэтической деятельности есть творческая натура, – и чем более одарен поэт творческой силой, тем, естественно, он деятельнее, подобно пароходу, который тем быстрее летит, чем огромнее его машина и чем жарче она топится. Неистощимость и разнообразие всякой поэзии зависит от объема ее содержания: и чем глубже, шире, универсальнее идеи, одушевляющие поэта и составляющие пафос его жизни, тем, естественно, разнообразнее и многочисленнее его произведения: тучная, богатая растительными силами почва не истощается одною богатою жатвою, а сухая и песчаная не дает и одной порядочной жатвы. Если поэт мало писал, значит, ему было не о чем больше писать, потому что вдохновлявшей его идеи, по ее поверхностности и мелкости, едва стало на два, на три десятка более или менее однообразных, хотя в то же время более или менее и прекрасных пьесок. Вот почему, когда иной знаменитый поэт наш соберется, наконец, издать собрание своих стихотворений, всем известных прежде из журналов и альманахов, то очень должно остерегаться читать те его стихотворения, которые после издания этого сборника будет он изредка печатать в журналах. Причина очевидна: наши поэты большею частью издают собрания своих поэтических трудов как памятники, дорогие их сердцу, лучших дней их жизни, когда они любили и мечтали. Но когда человек перестает мечтать, истратив

на мечты лучшую половину своей жизни, в которую следовало бы мыслить, и когда, волею или неволею, сходится и мирится он с пошлою действительностью, за незнанием разумной действительности, открывающейся только мысли и сознанию, а не чувствам и мечтам, — тогда талант оставляет его, и в таком случае всего лучше поторопиться ему издать свои сочинения. Жаль только, что эти счастливые дети своего времени в сборнике часто являются гостями, опоздавшими на пир и пришедшими в старомодных костюмах: они бывают неприятно поражены холодным приемом даже со стороны тех самых людей, которые, пять-шесть лет назад, были от них в восторге...

Но обратимся к двадцатым годам русской литературы. В это ультраромантическое и ультрастихотворное время проза была в самом жалком состоянии. Пушкин почти ничего не писал прозой. Несколько статей Веневитинова принадлежат к прозе теоретической, а не поэтической, и в этом роде прозы было кое-что, более или менее, замечательное, кроме *мыслящих* статей Веневитинова. В сфере поэтической прозы отличались тогда трескучие эффектами и фразою повести Марлинского и приводили добродушную публику в неописанный восторг. Чтоб несколькими словами охарактеризовать бедность изящной прозы того времени, стоит только заметить, что даже и повести одного московского ученого, совершенно лишённые фантазии, нищие талантом, богатые черствостью сухостию чувства и грубым циниз-

мом понятий и выражений, многим и очень многим нравились, хотя тогда же многие и смеялись над этими жалкими порождениями незаконных притязаний на талант и поэзию.<sup>[2]</sup> После этого удивительно ли, что для большинства того времени дивом-дивным казались повести г. Полевого, чуждые всякого творчества, но не чуждые некоторой изобретательности, бедные чувством, но богатые чувствительностью, лишенные идеи, но достаточно нашпигованные *высшими взглядами*, – повести, представлявшие, вместо характеров, образы без лиц, то есть неопределенные полумысли автора, – повести, не щеголявшие слогом, но ловко владевшие фразою и не без основания претендовавшие на некоторое достоинство рассказа, обличавшее в авторе литературное образование и навык, – повести, невинные в каком бы то ни было такте действительности и способности хотя приблизительно понимать действительность, но очень и очень виновные в мечтательности и натянутом, приторном абстрактном идеализме, который презирает землю и материю, питается воздухом и высокопарными фразами и стремится все «туда» (сiahin!) – в эту чудную страну праздношатающегося воображения, в эту вечную Атлантиду себялюбивых мечтателей?.. Удивительно ли, что и люди, не принадлежавшие к большинству, считали эти повести за весьма приятное явление в русской литературе?.. Ведь тогда еще не было ни «Пиковой дамы», ни «Капитанской дочки» Пушкина, ни повестей Гоголя, ни «Героя нашего времени» Лермонтова...

Впрочем, гг. Погодин и Полевой слишком много писали повестей только с 1829 года. Этот год был довольно заметным поворотом от стихов к прозе, и нельзя не согласиться, что, считая от этого времени до 1836 года, литература наша была более оживлена и более богата книгами, чем прежде и после того. В этот промежуток времени появились «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Арабески», «Миргород» и «Ревизор» Гоголя, и сам Пушкин начал обращаться к прозе, напечатав лучшие свои повести – «Пиковую даму» и «Капитанскую дочку». Этого уже слишком довольно, чтоб не только считать это время богатым и обильным литературными произведениями, но и видеть в нем новую, прекрасную эпоху русской литературы. Числительное богатство книг и обилие литературных новинок было еще значительнее. В 1829 году г. Ф. Булгарин издал своего «Выжигина», а в следующем году – «Димитрия Самозванца». Первый из этих романов имел большой успех: он в короткое время был весь раскуплен и особенно понравился низшим слоям читающей публики, которые, поверив на слово сочинителю, не затруднились увидеть в его безличных изображениях верную картину современной русской действительности. Очевидно, что в это невинное заблуждение ввели их русские имена действующих лиц в «Выжигине», название русских городов и областей, а главное – запутанные и неестественные похождения продувного героя романа. Добряки не заметили, что все это – *старые погудки на новый лад*, как говорит пословица,

то есть дюкре-дю-менилевские романические пружины с сумароковскими нападками на лихоимство и мошенничество. При этом не должно забывать, что первые попытки в новом роде всегда принимаются хорошо. Публике того времени показался новостью – роман с русскими именами. Она забыла, что какой-то А. Измайлов, в этом отношении, предупредил г. Ф. Булгарина целыми *тридцатью* годами, ибо в его романе «Евгений, или пагубные следствия дурного воспитания и общества», изданном в 1799 году, действие происходит в России, герой романа называется Евгением – имя столь же русское, сколько и иностранное. Фамилия Евгения – *Негодяев*, фамилии прочих действующих лиц романа – *Лицемеркина, Ветров, Тысячников, Бездельников, Простаков, коллежский асессор Назарий Антонович Миловзоров, Воров, Подлянков, Развратин* и пр. Вероятно, эти остроумно придуманные г. А. Измайловым русские фамилии и подали г. Ф. Булгарину счастливую мысль назвать героев своего романа Вороватыными, Ножовыми и пр. Это обстоятельство также доставило «Выжигину» значительный успех. Впрочем, «Выжигин», изобретательностию, манерою, ярким изображением характеров, движением сердца человеческого и нравственно-сатирическим направлением живо напоминавший собою «Евгения» г. А. Измайлова, далеко превзошел его в правильности языка, хотя и уступил ему в живости рассказа. Публика того времени, по свойственной ей забывчивости, не догадалась также, что г. Ф. Булгарин предупрежден был, как

романист, писателем новым и даровитым, и что в 1824 году вышел «Бурсак», а в 1825 – «Два Ивана, или страсть к тяжбам» Нарезного. Эти два замечательные произведения были *первыми* русскими романами. Они явились в такое время, когда еще публика не была в состоянии оценить их, и лучшие юмористические очерки характеров и сцен простонародного быта назвала *сальностями*, а немножко таланта увидела в романической развязке «Бурсака». Все это было с руки г. Ф. Булгарину и помогло ему прослыть первым романистом на Руси. Однакож его «Димитрий Самозванец» оборвался: его убил успех «Юрия Милославского», вышедшего в свет несколькими неделями прежде «Самозванца», который, без этого прискорбного для него обстоятельства, без сомнения, получил бы еще больший успех, чем «Выжигин». Последующие романы г. Ф. Булгарина уже имели самый посредственный успех, и то благодаря только овладевшей публикою страсти к романам, которая тогда сменила ее страсть к стихам. «Петр Иванович Выжигин» имел несчастье столкнуться с «Рославлевым»: несмотря на слабость второго романа г. Загоскина, он был все-таки неизмеримо выше «Петра Ивановича Выжигина», хотя в этом романе выведен и сам Наполеон, к несчастью обрисованный столь неудачно, что его так же трудно отличить от Петра Ивановича Выжигина, как и Петра Ивановича Выжигина от Наполеона. Четвертый роман г. Ф. Булгарина «Мазепа» упал решительно, несмотря на искусную и усердную поддержку со стороны «Библиоте-

ки для чтения»: публика уже не хотела читать повторения того, что уже надоело ей в прежних романах г. Ф. Булгарина. Еще менее заметила и оценила она неподражаемый юмор сего нравственно-сатирического сочинителя, разлитый в его «Записках титулярного советника Мухина». Это было полным падением – chute complete! Мода на романы так была сильна, то есть романы так хорошо расходились в то время, что даже сочинитель множества грамматик, прочетший, по словам «Библиотеки для чтения», в корректуре всю русскую литературу, г. Н. Греч – издал довольно длинную и, соответственно с тем; довольно скучную повесть – «Поездка в Германию» и потом длинный роман, начиненный разными чудесами на манер Анны Радклеиф – «Черная женщина». Сильный в то время на поприще журналистики барон Брамбеус силился искусною и усердною рецензиею, наполненною рассуждениями о магнетизме, дать ход первому изданию «Черной женщины», ставил ее выше романов Вальтера Скотта и считал за счастье, по собственным словам его, бежать за колесницею триумфатора, то есть г. Греча. Такова была тогда романомания, что все сходило с рук благополучно и всякая сказка давала более или менее верный барыш! Но второе издание «Черной женщины», поступившее в состав вышедших в 1838 году в пяти частях «Сочинений Николая Греча», потонуло в Лете вместе со всеми пятью частями этих сочинений. После романов г. Ф. Булгарина нам тотчас же следовало бы говорить о судьбе романов г. Загоскина, которые на-

чинали являться после «Выжигина» и убили наповал все романы г. Ф. Булгарина; но после имени Ф. Булгарина как-то невольно ложится под перо имя г. Н. Греча, да и романы обоих сих сочинителей похожи друг на друга, как дети одного отца, отличаясь мертвою правильностью и грамматическою чистотою языка, при отсутствии всяких других качеств. «Юрий Милославский»<sup>[3]</sup> был в свое время, без всякого сомнения, приятным и замечательным литературным явлением. Его действующие лица не только носят русские имена, но и говорят русскою речью, и даже чувствуют и мыслят по-русски, – что было в то время совершенно новым явлением в русской литературе. Присовокупите к этому добродушное увлечение автора, местами очень похожее если не на вдохновение, то на одушевление, рассказ плавный, не натянутый, язык не всегда правильный, как у гг. Ф. Булгарина и Н. Греча, но всегда живой, – и вы поймете причину чрезвычайного успеха этого романа. Г. Загоскин радушно, от души, со всем хлебосольством старых времен угостил русскую публику своим «Юрием Милославским». Но этим все и оканчивается. Исторического в этом романе нет ничего: все лица его списаны с простолюдинов нашего времени. Характеры, завязка и развязка романа – все обнаруживает в авторе русского драматического писателя, навывкишшего поддельную сценическую действительность почитать за зеркало настоящей русской жизни. В 1612 год он перенес отдельные сцены 1812 года, подмеченные им в деревнях, – и был убежден,

что остался верен истории. В «Рославлеве» он принялся более за свое дело – за изображение того, что видел сам на Руси в 1812 году. И если б он остался верен своему таланту и призванию – рисовать отдельные сцены и картины простонародного и помещичьего деревенского быта, – его второй роман был бы не без достоинств. Но автор почел нужным основать все на мелодраматической завязке, а главное возымел немножко смелую претензию – изобразить, словно в поэме, великий 1812 год со всем его историческим значением и характером, – и каким же образом? – через мелодраматическую любовишку, через портреты бесцветного героя, Рославлева, избитое в комедиях лицо *доброто малого* Зарецкого, через несколько добродушных оригиналов вроде Буркина и Иволгина и посредством нескольких отдельных и вымышленных сцен бородинской битвы, в которых разговаривают между собою приятели, забавные герои романа... Очевидно, что автора ввел в заблуждение непонятый им Вальтер Скотт и непонятое значение исторического романа. Как бы то ни было, но чем большего ожидала нетерпеливая публика от «Рославлева», тем меньше дождалась она. Последующие романы г. Загоскина были уже один слабее другого. В них он ударился в какую-то странную, псевдопатриотическую пропаганду и политику и начал с особенною любовью живописать разбитые носы и свороченные скулы известного рода героев, в которых он думает видеть достойных представителей чисто русских нравов, и с особенным пафосом прославлять

любовь к соленым огурцам и кислой капусте.

За г. Загоскиным вышел на литературное поприще в качестве романиста г. Лажечников. Он дебютировал историческим романом «Последний новик», действие которого происходит то в Лифляндии, то в России и действующие лица которого – немцы и русские. Это обстоятельство делит роман как бы на две стороны, из которых первая как-то лучше обрисована и занимательнее представлена автором, чем последняя. Как первый опыт в этом роде роман г. Лажечникова слишком полон и многоречив, во вред художественной соразмерности и пропорциональности; но, несмотря на этот недостаток, он необыкновенно жив, как всякий плод слишком горячей и запальчивой деятельности. Второй роман г. Лажечникова «Ледяной дом» уже не столько сложен и юношески горяч, как «Последний новик», зато более строен и прост, без ущерба занимательности; а некоторые главы, как, например, «Соперники» и «Родины козы», могут считаться украшением не только «Ледяного дома», но и замечательными произведениями русской литературы. В «Басурмане» очень удачно сделан очерк характера Иоанна III и вообще хороши те сцены, где автор выводит это грозное и великое лицо русской истории.<sup>[4]</sup> Во всем остальном нельзя сказать, чтоб автор очень удачно воспользовался прекрасно придуманною основою своего романа – представить противоположность европейского элемента жизни азиатскому и нарисовать потрясающую сердце картину гибели челове-

ски развившегося и образованного существа, сделавшегося жертвою диких нравов, среди которых забросила его судьба. Вообще, скажем откровенно, романам г. Лажечникова особенно вредят два обстоятельства. Во-первых, автор не довольно отрешился от старого литературного направления – видеть поэзию вне действительности и украшать природу по произвольно задуманным идеалам. Оттого в его русских романах есть что-то не совсем русское, что-то похожее на европейский быт в русских костюмах. Такова, например, любовь Волынского к Мариориче, неверная исторически и невозможная поэтически по ее несообразности с климатом, местностью и нравами. Она как будто из Италии или Испании приехала в Петербург, чтоб доставить автору несколько эффектных сцен. Что же касается до *украшения природы*, – оно не есть исключительная принадлежность псевдоклассицизма; переменились слова, а сущность дела осталась та же для многих нынешних поэтов, – и псевдоромантик Виктор Гюго еще с большим усердием, по-своему, украшает природу в романах и драмах, чем украшали ее псевдоклассики Корнель, Расин и Вольтер. Второй недостаток романов г. Лажечникова, имеющий тесную связь с первым, – это неровный, как будто неправильный и тяжелый язык. Многие по этому случаю упрекали г. Лажечникова в неумении писать по-русски и незнании русского языка: обвинение смешное и нелепое, достойное грамматистов-рутиньеров! Нет, не от незнания языка, не от неспособности владеть им г. Лажечников

пишет неровным слогом; даже не оттого, что будто бы он не занимается его отделкою, а разве оттого, что он слишком занимается отделкою и еще от ложной манеры, которую многие наши писатели, волею или неволею, сознательно или бессознательно, больше или меньше, заняли у Марлинского и которая заставила их пещись больше об эффектной красоте, чем о благородной простоте, строгой точности и ясной определенности выражения. Во всяком случае, русский роман, начатый г. Загоскиным, в произведениях г. Лажечникова сделал большой шаг вперед, – и если романы г. Загоскина проще, наивнее и легче романов г. Лажечникова, зато романы последнего далеко выше по мысли и вообще гораздо удовлетворительнее для образованного класса читателей. Нельзя не пожалеть, что г. Лажечников не избегнул общей участи многих русских писателей – замолчать после двух или трех опытов и лишит публику надежды дожидаться от него чего-нибудь такого, что напомнило бы его первые опыты, столь много обещавшие...

Если речь зашла о прозаиках-романистах этой эпохи, то было бы несправедливо умолчать о г. Вельтмане. Он дебютировал забытым теперь «Странником» – калейдоскопическою и отрывочною смесью в стихах и прозе, не лишенною, однакож, оригинальности и казавшеюся тогда занимательною и острою. Потом он издал какую-то поэму в стихах. Первым и, по обыкновению большей части русских писателей, лучшим его романом был «Кашей Бессмертный»<sup>[5]</sup> – странная, но по-

этическая фантазмагория. Надо сказать правду, у г. Вельтмана несравненно больше фантазии, чем у романистов, о которых мы говорили выше, и потому он гораздо больше поэт, чем они. Но его фантазии достает только на поэтические места; с целым же произведением она никогда не в состоянии управиться. Оригинальность фантазии г. Вельтмана часто сбивается на странность и вычурность в вымыслах. Прочитав его роман, помнишь прекрасные, исполненные поэзии места, но целое тотчас изглаживается из памяти. К романическим и поэтическим вымыслам г. Вельтман примешивает какой-то археологический мистицизм и вносит свою страсть к этимологическим объяснениям исторических и даже доисторических вопросов. Все это очень безобразит его романы. Туманность и неопределенность в вымыслах и характерах также принадлежат к недостаткам романов г-на Вельтмана. Каждый новый его роман был повторением недостатков первого, с ослаблением красот его. Все это сделало то, что г. Вельтман пользуется гораздо меньшею известностью и меньшим авторитетом, нежели каких бы заслуживало его замечательное дарование.

Почти в то же время явились на сцену и другие романисты, имевшие больший или меньший успех, как, например, г. Ушаков, которого «Киргиз-Кайсак»<sup>[6]</sup> не лишен был кое-каких относительных достоинств. Роман скрывшего свое имя автора – «Семейство Холмских» имел замечательный успех; в нем попадаются довольно живые картины русского быта в

юмористическом роде; но он утомителен избытыми пружинами вымысла и избытком сентиментальности, соединенной с резонерством.<sup>[7]</sup> Марлинский гарцовал в журналах своими трескучими повестями до 1836 года; особо и вполне они были изданы в 1838–1839 годах. Из новых нувеллистов, в начале тридцатых годов, явился даровитый казак Луганский, с своими оригинальными рассказами на русско-молодецкий лад, которые он потом мало-помалу начал оставлять для повести лучшего тона и содержания. Как сказки, так и повести Луганского были плодом сколько замечательного дарования, столько же и прилежной наблюдательности, изошренной многостороннею житейскою опытностью автора, человека *бывалого* и коротко ознакомившегося с бытом России почти на всех концах ее. – Гг. Погодин и Полевой, с особенным усердием принявшие за повести с 1829 года, издали в тридцатых годах собрания этих повестей. В начале же тридцатых годов неожиданно вышла первая часть дотоле никому неизвестных стихотворений г. Бенедиктова, которого талант в стихах – то же, что талант Марлинского в прозе; время уже доказало справедливость приговора, каким встречены были критикою первые опыты г. Бенедиктова.<sup>[8]</sup> Но не все критики были так строги к этому блестящему стихотворцу; один московский критик и словесник, притом же сам пиита, объявил, что до г. Бенедиктова поэзия наша (представителями которой, разумеется, были Державин, Крылов, Жуковский, Батюшков, Пушкин, Грибоедов) была чужда мысли, и что

только в изящных произведениях г. Бенедиктова русская поэзия в первый раз явилась вооруженная мыслию...<sup>[9]</sup> – Еще прежде г. Бенедиктова вышел на литературное поприще г. Кукольник с лирическими стихотворениями, драмами в стихах, а потом с повестями, романами, журнальными статьями и проч. В его литературной и поэтической деятельности заметнее всего – усилие обыкновенного таланта подняться на высоты, доступные только гению, и потому если нельзя отрицать в нем таланта, то нельзя и определить степени, характера и заслуг этого таланта. – Мы, может быть, забыли и еще кое-какие произведения, имевшие в то время большой или меньший успех и умножившие собою число интересовавших публику книг; но не обо всем же говорить! Лучше скажем, что князь Одоевский, почти ничего отдельно не издававший доселе под своим именем, с 1824 года постоянно печатал в повременных изданиях повести и рассказы особенного рода, в которых нравственные идеи облекались то в поэтические образы, то в живое слово, исполненное пафоса красноречия... Но о них мы скоро будем иметь случай говорить подробнее.<sup>[10]</sup>

С 1839 года в русской литературе совершился заметный перелом. Книжная торговля упала, книг стало выходить гораздо менее, и литература начала казаться беднее прежнего. Пушкин умер, и два года печатались в «Современнике» его посмертные произведения. Это были последние и самые высокие, самые зрелые создания вполне развившегося и воз-

мужавшего его художнического гения. В первом томе «Старусских литераторов» был напечатан его «Каменный гость» и отрывок из романа.<sup>[11]</sup> Все остальное, дотоле неизвестное публике, появилось только в 1841 году, в трех последних томах полного собрания его сочинений. Долго тянулось для публики издание новых, неизвестных ей сочинений Пушкина, – и этим утомилось не внимание, а ожидание публики!.. С 1837 года начали появляться в журналах стихотворения Лермонтова,<sup>[12]</sup> в первый раз изданные особо в 1840 году, равно как и его «Герой нашего времени». С 1837 года начали появляться повести графа Соллогуба, г. Панаева и других более или менее замечательных молодых писателей. В числе молодых с 1838 года явился один старый: это покойный Основьяненко, между бесчисленными повестями которого, написанными в продолжение каких-нибудь четырех лет, особенно замечателен «Пан Халявский» – сатирическая картина старинных нравов Малороссии; во всех других повестях и романах своих он повторял или сентиментальность своей «Маруси», или юмор «Пана Халявского» и в последнее время значительно выписался.

Еще с 1837 года все новое в русской литературе начало прятаться в журналах, и особыми книгами большею частию стали появляться только или альманахи, или сборники уже известных публике из журналов сочинений, или, наконец, новые издания старых сочинений. Новое, вне журналов и альманахов, показывалось реже и реже, а после смерти Лер-

монтова, последовавшей в 1841 году, лучшее, что печаталось и в журналах, состояло из оставшихся стихотворений этого поэта, столь рано умершего для русской литературы, которую его великий талант один был бы в состоянии сделать интересною не для одних нас, русских. Бедность и нищета более и более начали вторгаться даже в журналы – эти теперь почти единственные представители «богатства» русской литературы. Беден был хорошими повестями 1842 год, но прошлый 1843 оказался еще беднее. Об отдельно выходящих книгах теперь много нельзя разговориться. В 1842 году вышли «Мертвые души» Гоголя – творение столь глубокое по содержанию и великое по творческой концепции и художественному совершенству формы, что оно одно пополнило бы собою отсутствие книг за десять лет и явилось бы одиноким среди изобилия в хороших литературных произведениях. Впрочем, 1842 год все-таки был богаче прошлого отдельно вышедшими книгами, равно как и замечательными повестями, помещенными в журналах и альманахах...

Выведенный нами из этого обзора результат, *повидимому*, противоречит началу статьи. Мы хотели доказать, что литература настоящего времени только по наружности беднее литературы прежних времен, а в сущности выше ее, – и между тем фактами доказали совсем противное. Но мы начали с того, что литературная бедность нашего времени, по своим причинам, почтенна и в этом смысле составляет приобретение, а не утрату... Объяснимся. Как от литературы двадца-

тых годов прочные и действительные приобретения остались только в сочинениях Пушкина<sup>2</sup> и в «Горе от ума» Грибоедова, все же прочее имеет более или менее относительное, так сказать, историческое значение, – точно так и от литературы тридцатых годов у нас есть прочные и действительные приобретения только в сочинениях Гоголя и Лермонтова, а все остальное или уже получило свое относительное историческое значение, или, за недостатком времени, еще не выдержало пробы, могущей определить его безусловную ценность. И если от 1823 года до начала четвертого десятилетия вышло много (сравнительно с прежним и последующим временем) романов, драм и других произведений изящной словесности, то не должно забывать, что это была пора опытов и попыток, – пора, в которую все новое не могло не удаваться. Ведь и «Выжигины» с «Самозванцем», по мнимой их новизне, сначала имели успех, да еще какой! – неужели же и их должно считать сокровищами русской литературы теперь, когда читавшие их уже совсем забыли, а не читавшие вовсе не имеют никакого желания прочесть? Нападки на пьянство, воровство, шулерство и лихоимство, как на пороки губительные для внешнего и внутреннего благосостояния людей, – неужели эти нападки, состоявшие в истертых моральных сентенциях, и теперь должно принимать за идеи;

---

<sup>2</sup> Мы не упоминаем имени Жуковского потому, что деятельность этого поэта не относится исключительно к двадцатым годам; она началась раньше этого времени около семнадцати лет и, к славе и чести русской литературы, не кончилась до сих пор.

а бездушные риторические олицетворения пороков и добродетелей, выдаваемые за характеры, действительно должно принимать за живые лица, вместо того чтоб видеть в них куклы, раскрашенные грубою мазилкою и безобразно вырезанные ножницами из оберточной бумаги?.. Конечно, первые романы г. Загоскина всегда будут удостоиваемы почетного упоминования от истерика русской литературы, и никто не станет отрицать их относительного достоинства для времени, в которое они явились, и даже их более или менее полезного влияния на современную им русскую литературу; но из этого еще не следует, чтобы мы их читали и перечитывали, как творения всегда новые, или чтобы мы в «Юрии Милославском» и теперь видели верную картину «Русских 1612 года», а в «Рославлеве» – «Русских 1812 года»... Подобные мысли и двенадцать лет тому назад едва ли кому входили в голову; а теперь всякий видит в этих романах не более, как литературные (а отнюдь не художественные) очерки не русских 1612 и 1812 годов, а русского простонародья во все годы, какие вам угодно... Многое бывает хорошо для своего времени, и иное живет век, иное десять лет, иное год, а иное один день... Все эти «Поездки в Германию», «Черные женщины», «Киргиз-Кайсаки», «Коты Бурмосеки», «Семейства Холмских» и тому подобные произведения не могли не нравиться в свое время; но время это прошло, уже не воротится для них, и теперь, если бы кто стал ими угощать публику, выхваляя их достоинства, публика могла бы ответить: «хо-

роши были покойники – вечная им память; не будем тревожить их праха...»

Отчего же, спросят, теперь не является таких же более или менее удовлетворительных для нашего времени сочинений, какие выходили тогда в таком значительном числе? – В этом вопросе – вся сущность дела. Мы сказали выше, что то время было временем опытов и попыток в разных родах. Теперь это время миновалось: все уже испытано, и чтоб проложить в искусстве новую дорогу, нужен гений или, по крайней мере, великий талант, а гении и великие таланты не рождаются десятками и дюжинами. Вы хотите отличиться, например, на поприще лирической поэзии – за что вам приняться: за оды? – их век давно прошел; за элегии? – хорошо, но вы должны сказать в них что-нибудь новое. О грусти, разочаровании, идеалах, неземных девах, луне, сладостной лени, разгульных пирах, шипучем вине, отчаянии, ненависти к людям, погибшей юности, измене, кинжалах, ядах – обо всем этом уже было сказано и пересказано тысячу раз – и в изящных созданиях Пушкина, и толпою его подражателей. Теперь уже вас не станут читать, если вы захотите удивлять размахистостию бойкой фразы, яркою звонкостию стиха, восторженными дифирамбами в честь голубооких и молодых дев и шумных пиров удалой юности, – потому что в этом вас предупредил г. Языков, и предупредил, как человек с талантом, который шел своею дорогою, какая бы ни была она, и умел быть оригинальным, какова бы ни была эта оригинальность.

Г. Языков уже самым этим временным успехом своей поэзии навсегда уничтожил возможность такой поэзии: в этом и состоит его неотъемлемая заслуга русской литературе и неотъемлемое право на место в истории русской литературы.<sup>[13]</sup> Если б неизбежно было читать кого-нибудь из вас, так уж, конечно, его, а не вас: оригиналы всегда предпочитают копиям. – Хотите ли вы блеснуть выписными чувствами, выраженными ослепительно вычурными фразами и натянуто смелою метафорою: вас и тут предупредил г. Бенедиктов и тоже предупредил, как человек с дарованием, который сам проложил себе дорогу, какова бы она ни была, и был оригинален, что б ни говорили о его оригинальности. Г. Бенедиктов тем и оказал важную услугу русской литературе, что самым успехом своей поэзии сделал навсегда смешною такую поэзию. Для этого тоже нужен талант! Гений или великий талант уничтожает для других возможность прославиться на его счет посредством подражания; а такие маленькие, хотя и яркие и самобытные таланты, призванные показать пример уклонения искусства от настоящей его цели, спасают в будущем искусство от этих уклонений именно возможностью для других подражать им в их ложном направлении. Это заслуга отрицательная, но и для нее нужно иметь талант, нужно, чтоб в основе такого ложного вдохновения была своя истинная струна поэзии, подобно золотым крупинкам в массе речного песка. Теперь уже невозможны такие поэты, как гг. Языков и Бенедиктов, или, лучше сказать,

невозможен сколько-нибудь значительный успех со стороны таких поэтов. Недавно в Москве некто г. Милькеев, о близком пришествии которого в литературный мир заранее трубили приятельские журналы, как о чуде-чудном и диве-дивном, издал книжку стихотворений, которые, по форме, показали в нем ученика гг. Языкова и Бенедиктова, а по содержанию ученика г. Хомякова;<sup>[14]</sup> не чувствуя в себе довольно силы, чтоб хоть сравняться с своими образцами, не только превзойти их, а вместе с тем желая во что бы то ни стало показаться, оригинальным, он не придумал ничего лучшего, как превзойти свой образец в направлении своей поэзии, и, взяв за основание неопределенно и темно понятую мысль о народности, довести ее до последней нелепости. Для этого он начал воспевать восторженными стихами русскую силу и доказывать, что Ломоносов оттого только и сделался преобразователем русского слова, что имел несчастную страсть невоздержности, которую московский поэт поставил ему в великую заслугу... Видите ли, как трудно теперь сделаться поэтом на чужой счет, без таланта, без образования, без идей, без призвания!.. Пушкин, при жизни своей, не был понят: при начале его поприща им поверхностно восхищались и думали походить на него, усвоив себе не тайну, не жизнь, а только легкость его стиха, – при конце его поприща легкомысленно к нему охладели и считали себя выше его потому только, что не были в состоянии понять его, указывая на его ошибки и промахи, действительно важные, и не

умея измерить высоты, действительно недостижимой, на которую стал его возмужавший творческий гений. Но посмертные его сочинения, которыми он при жизни своей не торопился угощать русскую публику, столь хорошо знакомую ему по долговременному опыту, многим невольно открыли глаза на истинное значение Пушкина. Кратковременная, но изумительная своею огромностию деятельность Лермонтова на поэтическом поприще окончательно лишила нас надежды видеть частые появления новых замечательных поэтов и новые замечательные произведения поэзии: после Пушкина и Лермонтова трудно быть не только замечательным, но и каким-нибудь поэтом! Меч и шлем Ахилла из всех греческих героев могли оспаривать только Аякс и Одиссей. А теперь в журналах изредка появляются стихотворения, выходящие за черту посредственности; но когда в том же номере журнала находишь стихотворение Лермонтова, то не хочется и читать других. В 1842 году вышли стихотворения г. Майкова; и те из них, которые им написаны в антологическом роде, обнаруживают талант необыкновенный: их читали, ими восхищались, их хвалили, за автором бесспорно осталось титуло замечательно даровитого человека; но уже не было преувеличенных похвал и толков о гениальности; поэт занял свое место, очень почетное, но которое, однакож, не показало его всем на особенной высоте, — ибо все поняли, что прекрасные опыты в антологическом роде еще не разгадка последнего слова современности и не удовлетворение всех ее потреб-

ностей. К тому же все неантологические опыты г. Майкова почти ничтожны и не обещают в будущем особенного развития и особенных успехов со стороны поэта. А между тем было время, когда люди с несравненно меньшим талантом, чем талант г. Майкова, считались едва не гениями, и стихотворения их были всем известны. Неприятели «Отечественных записок» не раз, явно и намеками, старались внушить публике мысль, будто бы мы, для успеха нашего журнала, производим в гении поэтов, помещающих свои произведения в нашем журнале. Здесь мы считаем кстати не словами, а фактами доказать несправедливость подобного обвинения. Наиболее превозносимые нами поэты, из новых: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов и Гоголь. Из них только один Лермонтов был постоянным вкладчиком «Отечественных записок»; Пушкин и Грибоедов ничего не могли печатать в журнале, начавшемся после их смерти; а Гоголь хотя и жив и пишет, но доселе не поместил в «Отечественных записках» ни одной строки своей. Мы хвалим *gratis*,<sup>3</sup> и наша любовь, наше уважение к *великим* умершим всегда были и будут жарче и благоговейнее, чем к *малым* живым, хотя для нашего журнала последние могли б быть полезнее первых... Мы ценим в поэте талант и гений независимо от его сотрудничества или несотрудничества в нашем журнале. Мы были бы в восторге, если б явился новый Лермонтов, и без умолка хвалили бы его, если б он печатал свои стихи хотя бы даже в «Маяке».<sup>[15]</sup>

---

<sup>3</sup> Безвозмездно. – *Ред.*

Но – увы! – несмотря на весь пыл наших желаний приветствовать на Руси появление нового великого таланта, – мы ни в чужих, ни в нашем журнале не видим не только нового Лермонтова, но и что-нибудь похожее на него!

Итак, о стихах нечего говорить. Настоящее время бесплодно и неудобно для них, ибо требует от стихов или очень многого, или ничего.

До сих пор, говоря о стихах, мы разумели преимущественно лирическую поэзию. Обратимся к тому роду поэзии, который является в стихах и в прозе. Назад тому лет десять некто г. Зилов издал книжку басен и после, в одном стихотворении, горько жаловался, что-де теперь читают все неистовые романы, а басен не читают. Из этого видно, что г. Зилов только вполовину постиг дело: правда, для басни давно уже и безвозвратно прошло время; но г-ну Зилову следовало бы обратить внимание и на то, что его басни были плохи и что ему не следовало бы с такими баснями являться после Хемницера, Дмитриева и Крылова. Сказка вроде «Модной жены» и «Причудницы» Дмитриева и «Странствователя и домоседа» Батюшкова тоже давно отжила свой век; но сказка вроде «Графа Нулина» Пушкина и «Казначейши» Лермонтова может здравствовать и теперь —

Да за нее не всяк умеет взяться!

Она в особенности требует юмора, а юмор есть столько же

ум, сколько и талант. Одним словом, такая сказка и теперь – претрудная вещь. Роман вроде «Онегина», поэмы вроде поэмы Пушкина и Лермонтова могут быть и теперь; но их все как-то боятся, и мы знаем только один счастливый опыт в этом роде, явившийся в последнее время, именно маленькую поэму «Парашу», вышедшую в прошлом году.<sup>[16]</sup> Этот род поэзии гораздо труднее лирической, ибо требует не ощущений и чувств мимолетных, которые могут быть у многих, но и дара поэзии, и образованного, *умного* взгляда на жизнь – что бывает очень не у многих. Писать же поэмы, как писали их, например, Козлов, г. Подолинский и прочие, и теперь бы могли многие; даже, лет пять назад, за них принялся было поэт не без дарования, г. Бернет; но попытка оказалась неудачною: новое время – новые и требования, более трудные для исполнения, чем прежние. Опять вина не поэтов, а времени, – и ясно, что теперь нашу литературу обеднило время, с его неудобоисполнимыми требованиями, а не недостаток в охотниках писать и в таких талантах, каких довольно было вовремя оно... Драматическая поэзия допускает равно и стихи и прозу, даже то и другое вместе. В числительном отношении это у нас самая богатая отрасль литературы. Еще в 1786–1794 годах был издан «Российский театр» в *сорока трех* частях: судите же, какое богатство! Трагедии писали у нас и Тредьяковский, и Ломоносов, и Сумароков, и Херасков, и Княжнин, и Озеров, и Крюковской, и многие-многие; а писавших комедии нет возможности пе-

речь наскоро. И однакож порядочных трагедий в псевдо-классическом французском роде только четыре – Озерова; трагедию, вроде шекспировских драматических хроник, мы имеем только одну – «Бориса Годунова» Пушкина; и в его *драматических сценах* — несколько опытов трагедии собственно («Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Русалка», «Каменный гость»). Больше не на что указать. Что касается до комедии, в которой с большим или меньшим успехом упражнялось множество писателей, как то: Сумароков, Херасков, Княжнин, Капнист, Крылов, князь Шаховской, гг. Загоскин, Хмельницкий, Писарев и пр. и пр., – несмотря на огромное богатство нашей литературы в произведениях этого рода, все-таки решительно не на что указать, кроме «Бригадира» и «Недоросля» Фонвизина, «Горя от ума» Грибоедова, «Ревизора» и «Женитьбы» Гоголя и его же «Сцен» («Игроки», «Тяжба», «Лакейская» и пр.). Итак, чтоб написать теперь трагедию, которая была бы не хуже «Бориса Годунова» и других драматических опытов Пушкина, – надо иметь талант Пушкина. Некоторые писатели, действительно, отважно решились допытываться своего счастья на этом тревожном море. Г-н Хомяков написал драмы «Ермак» и «Димитрий Самозванец», из которых первая даже была поставлена на сцену.<sup>[17]</sup> Но все скоро признали в казаках г. Хомякова не казаков XVI столетия, а скорее немецких студентов доброго старого времени; вместо характеров увидели олицетворение известных лири-

ческих ощущений и чувствований и вообще нечто вроде пародии на драматический лиризм Шиллера, – пародии, написанной, впрочем, бойкими, гладкими и даже иногда живыми стихами. В «Самозванце» уже не только одни лирические ощущения и чувствования, но и кое-какие доморощенные идеи о русской истории и русской народности; стихи так же хороши, как и в «Ермаке», местами довольно удачная подделка под русскую речь и при этом совершенное отсутствие всякого драматизма; характеры – сочиненные по рецепту; герой драмы – идеальный студент на немецкую статью; тон детский, взгляды невысокие, недостаток такта действительности совершенный. Потом выступил на драматическое поприще г. Кукольник с своими драмами из жизни итальянских художников. Отвлеченная идеальность, местами хорошие лирические выходы; изредка недурные драматические положения; но в общности, неверность концепции, монотонность вымысла и формы, недостаток истинного драматизма и вследствие того непобедимая скука при чтении – вот характеристика этих драм г. Кукольника. Но у него есть еще и другой род драм – это русско-исторические, как, например, «Рука всевышнего отечество спасла», «Скопин Шуйский» и «Князь Холмский». В этих нет ничего общего с «Борисом Годуновым», который до того проникнут везде истинно шекспировскою верностию исторической действительности, что самые недостатки его, – как то: отсутствие драматического движения, преобладание эпического элемента и

вследствие этого – какое-то холодное, хотя и величавое спокойствие, разлитое во всей пьесе, – происходят оттого, что она слишком безукоризненно верна исторической действительности русской жизни. В драмах г. Кукольника нет и признаков этой действительности: все ложно, на ходулях; лучшие места – просто сценические эффекты, и сквозь русские охабни, кафтаны и сарафаны пробивается что-то нерусское, как в русско-исторических повестях Марлинского, как в русских песнях Дельвига. Доказательством справедливости наших слов может служить и то, что этот род драмы ловко был усвоен гг. Ободовским, Полевым, В. Зотовым и другими сочинителями этого разряда. Но у г. Кукольника есть еще особый род драмы – это переделанные в драматическую форму анекдоты из жизни Петра Великого (например, «Иван Рябов, рыбак архангелогородский»); в них много хорошего, хоть и нет драмы, ибо из анекдота никак нельзя сделать драму. Г. Полевой не упустил из вида отличиться и в драме, как отличился уже в лирической поэзии, в романе, в повести, в критике, в истории, в журналистике, в политической экономии, в эстетике, в филологии, в философии, в лингвистике и проч. и проч. Особенный характер трагедий (или «драматических представлений»), комедий, водевилей, анекдотических драм г. Полевого – всеобъемлемость, универсальность, в них все найдете: немножко Шекспира, немножко Шиллера, немножко Мольера, немножко Вальтера Скотта, немножко Дюкре-дю-Мениля и Августа Лафонтена. Дюма где-то ска-

зал, что он не похищает чужого в своих сочинениях, но, подобно Шекспиру и Мольеру, берет свое, где только увидит его; эти слова можно приложить и к г. Полевому: ему все годится, все подручно – и история, и повесть, и роман, и анекдот, Шекспир и Коцебу, Шиллер и г. Кукольник: он все берет и у всех учится. Его драмы рождаются и умирают десятками, подобно летним эфемеридам. Наш Вольтер и Гёте, он все; он один – целая литература, целая наука. Извольте же угоняться за ним! примитесь за драму: он взял или возьмет всевозможные сюжеты, какие бы вы ни придумали, воспользуется всякими новыми драматическими эффектами – все вместит он в свою драму, во всем предупредит вас. Нет, лучше и не беритесь за драму: кроме г. Полевого, вам загораживают дорогу гг. Хомяков и Кукольник. Вам поневоле придется выдумать свою драму, новую, небывалую, а это невозможно, потому что уже все источники изобретения истощены, все роды перепробованы, все дороги избиты. Нужен гений, нужен великий талант, чтоб показать миру творческое произведение, простое и прекрасное, взятое из всем известной действительности, но веющее новым духом, новою жизнью. Если б вы даже вздумали сочинить произведение вроде «Разбойников» Шиллера, вас и тут предупредил еще в 1800 году Нарезный своим «Димитрием Самозванцем». Не пишите и романтической трагедии с дико завывающими фразами, бедными смыслом, но богатыми неистовством, с сюжетом, заимствованным из поэмы Байрона: вас уже предупредил г.

Олин своим «Корсаром»! Да; теперь потому ничего не пишут, что уже все написано; потому и трудно прославиться, что нужно для этого не новизну выкинутой штуки, а много, много таланта, если не гения!..

Комедия еще более приводит в отчаяние, нежели драма. В драме посредственность может похитить что-нибудь у Шекспира, Вальтера Скотта, Мольера, подняться на дыбы, ослепить толпу дикими и грубыми эффектами, пением, пляскою, родственными обниманиями и т. п.; но в комедии совсем не то. Искусство смешить труднее искусства трогать. Неразвитого человека можно растрогать поддельною чувствительностью, криком вместо чувства, эффектом вместо потрясающей сцены; но чтоб заставить рассмеяться, даже грубым смехом, нужна природная веселость и своего рода юмор. Скажут: толпу можно смешить в сценических пьесах переодеваньями, оплеухами, толчками, потасовкою, неприличными и грубыми двусмысленностями, плоскими шутками и тому подобными комическими эффектами. Так и делает большая часть доморощенных наших драматургов, сочинителей и переделывателей комедий и водевилей: верхняя публика громко хохочет, нижняя аплодирует; но это обман сцены: ловкую игру актера принимают за достоинство пьесы, которая, по своему позабавив один вечер толпу, на другой вечер уже не нравится самой этой толпе, а в чтении никуда не годится с первого раза. Если на минуту она была приобретением сцены, то ни на одну минуту не составляла приобретения для

литературы. Такие пьесы десятками родятся сегодня и десятками умирают завтра. Водевилистов и комиков наших в неделю не перечесть по пальцам; их произведениям нет числа; а драматической литературы нет у нас! Ни один петербургский чиновник, получающий до 1 000 рублей жалованья и поработавший в какой-нибудь газете по части объявлений о сигарочных и овощных лавочках, не затруднится написать комедию, изображающую высший свет, которого он, бедняк, и во сне не видал и о тоне которого он судит по манерам своего начальника отделения. Комедия требует глубокого, острого взгляда в основы общественной морали, и притом надо, чтоб наблюдающий их юмористически, своим разумением стоял выше их. Наши же доморощенные драматурги, — по большей части люди средних кружков, в которых с успехом отличаются своею любезностью и остроумием, — стараются в своих комедиях и водевилях быть «критиканами» (*критикан* — тривиальное слово, равнозначительное *зубоскалу*) и возбуждать смех или пошлыми каламбурами, или плоскими остротами над модными костюмами, бородами и прическами à la russe<sup>4</sup>, над простотою провинциала, приехавшего в Петербург, словом, над всякою странною внешностью. Не таков истинный комизм и истинный юмор. Для него внешность смешна не сама по себе, но как выражение внутреннего мира души человека, отражение его понятий и чувств. Мы могли бы привести из комедии Гоголя

---

<sup>4</sup> На русский лад. — *Ред.*

тысячи примеров истинного комизма, но ограничимся двумя: вспомните сцену, где городничий *распекает* купцов за их донос ревизору: «Жаловаться? а кто тебе *помог сплутовать*, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я *помог тебе*, козлиная борода! Ты позабыл это. Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. – Что скажешь, а?»... Вот это комизм, от которого как-то тяжело смеешься! Человек, без стыда, без совести, ставит себе в заслугу, что он *помог другому сплутовать*, и, словно оскорбленная добродетель, с благородным негодованием упрекает другого в неблагодарности, как в черном и низком деле. Это он говорит при жене и дочери, и это же он сказал бы при сыне, если б у него был сын. Фамусов, в «Горе от ума» говорит Скалозубу:

Нет! я перед родней, где встретится, ползком;  
Сыщу ее на дне морском!  
При мне служащие чужие очень редки:  
Все больше сестрины, свояченицы детки;  
Один Молчалин мне не свой  
И то затем, что деловой.  
Как станешь представлять к крестишку иль к местечку,  
Ну как не порадеть родному человечку?

Черта глубоко комическая! В Петербурге, слава богу, эта черта не слишком бросается в глаза, но в провинциальной

глуши принцип родства так силен, что там скорее решатся десять лет сряду не играть в преферанс, чем показать холодность к родственнику в семьдесят седьмом колене. Будь он плут отъявленный и человек с самою дурною репутациею, но если он вам родственник, он, отроду не видав вас, не только лезет с своими губами к вашему лицу, но и селится в вашем доме с семьею, с дворнею и заставляет вас втайне проклинать судьбу, которая дала вам возможность иметь собственный дом. И он прав: не останавливаться же ему в трактире, приехав из своего поместья в губернский город, когда у него есть родственники; ведь они же обиделись бы таким грубым с его стороны поступком!.. И что же? здесь еще не конец смешному: они действительно обиделись бы, если б он остановился *не* у них, и они же проклинали бы втайне и его и себя, а наружно делали бы сладкие мины сквозь слезы, если б он у них остановился... Вот он, неисчерпаемый источник истинного комизма! Он вокруг нас и даже в самих нас. Благодаря ему мы смешны в собственных глазах. Но чуть только начнем мы писать комедию, выходит книга, в которой много слов, много пошлостей, много вздора, и нет нисколько истины, действительности. Интрига всегда завязана на пряничной любви, увенчивающейся законным браком, по преодолении разных препятствий. Любовь у нас во всем – и в стихах, и в романах, и в повестях, и в трагедиях, и в комедиях, и в водевилях. Подумаешь, что на Руси люди только и делают, что влюбляются да по преодолении разных

препятствий женятся, – и, заметьте, всегда бескорыстно, без расчетов на приданое, на связи, на выгодное место, всегда на девице идеальной, дочери бедных, но благородных родителей. Гоголь сказал правду: «Теперь сильнее завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другого, отмстить за пренебрежение, за насмешку. Не более ли имеют теперь электричества денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?»<sup>5</sup> Но нашим комикам этого и в голову не входило. Пошлый любовник с пряничными фразами; пошлая барышня, нечто вроде сентиментальной *servante endimanchée*<sup>6</sup>, разлучник-негодяй и дядя-резонер – неизменные лица их комедий. Все говорят, словно по книге читают; не услышишь живого слова, и нет признака того, что бывает в действительности. Оно и лучше: никто не узнает себя и не осердится. Волки сыты и овцы целы. Зато, если среди кучи этих вздорных произведений появится водевильчик со смыслом и хоть с легоньким намеком на то, что в самом деле бывает, хоть с искрой истины и верности действительности, – боже мой! сколько шума, какой триумф! Слово появилось вековое произведение!.. Такое событие совершилось недавно, – и в одной газете автор хорошенького водевильчика приглашался переделать драматические сочинения Гоголя, чтобы сделать их сносными!.. Мы советовали бы сочинителям оставить Гоголя в покое и при-

---

<sup>5</sup> Сочинения Николая Гоголя, 1842, ч. IV, стр. 527.

<sup>6</sup> Разряженной служанки. – *Ред.*

искать себе какого-нибудь водевилиста, который бы исправил и сделал сколько-нибудь сносными их собственные из чужих лоскутьев сшитые «драматические представления».

И вот мы перебрали все роды поэзии, чтоб показать, что теперь ни в одном нет возможности с успехом действовать не только бездарности, посредственности, но и людям не без таланта. Бедность современной литературы происходит оттого, что все перепробовано, и новизною уже нельзя блеснуть как талантом. Это бедность честная, благородная, которая в тысячу раз лучше мнимого богатства. Это успех, а не падение, огромный шаг вперед, а не назад. Теперь уже заперт путь к известности и знаменитости всякому, у кого нет большого таланта. Вследствие этого бесталантность, посредственность и мелкие дарования, которых еще больше на белом свете, чем людей, совершенно бездарных, принялись за свое дело, на которое назначены они природою и судьбою; они составляют исторические компиляции и статейки о нравах для полноти изданий. Когда картинки плохи, текст читается столько внимательно, сколько это нужно для объяснения картинок; когда картинки хороши (как, например, картинки г. Тимма), текст вовсе не читается; но сочинители от этого ничего не теряют: их книги покупаются для картинок, и читатели не в претензии за вздорную галиматью текста. И читатели правы: простительнее восхищаться хорошими картинками, чем пустыми книгами...

Время детских восторгов прошло, и настает время мысли.

Публика сделалась требовательнее. Правда, она сама не отдала себе отчета в том, чего требует, но уже не удовлетворяется всем, чем ни попотчует ее досужая деятельность писак. Время сознания еще не настало, но уж близко начало этого сознания. Пышные возгласы и великолепные фразы уж всем кажутся пошлыми, и ими уж никого нельзя заинтересовать. Никто не станет сомневаться в существовании русской литературы; но всякий имеет право требовать настоящего взгляда на ее объем и степень ее важности, и всякий имеет право смеяться при пышных сравнениях ее с иностранными литературами. Что у нас есть литература, для этого достаточно знать, что у нас есть Пушкин, и что мы, кроме Пушкина, с гордостью можем указать еще на несколько имен. Наша литература имеет и свою историю, потому что все замечательные ее явления исторически последовательны и одни факты объясняются другими, предшествовавшими. Все это так; но вместе с этим мы не должны забывать, что наша литература вначале была пересаженным цветком, жизненность которого долго поддерживалась искусственно, за стеклами теплицы. Очень и очень недавно начала она пускать корни в русскую почву. И как еще доселе тесна эта почва! Где та сплоченная масса, из жизни которой, как цветок из почвы, возникла бы наша поэзия и обратно действовала бы одинаково на всю эту массу? Какое отношение имеет наша современная поэзия к поэзии народной? – Они не только не родня одна другой – даже незнакомы друг с другом. Прочтите пьесу Пушки-

на не только мужику, но хоть иному и купцу первой гильдии: что он о ней скажет?.. Где наша публика, которая, силою своего мнения, уронила бы бесстыдно торговый журнал<sup>[18]</sup> или по крайней мере ограничила бы его дерзость и наглость? Она на многое сердится, многим недовольна, но чем именно, этого она сама не знает, потому что она – не сплошная масса, а собрание людей различных состояний, кругов, требований, понятий, привычек, собрание людей, не связанных между собою единством мнения. Выходят «Мертвые души»: большинство публики ими недовольно, охотно соглашается с журнального бранью врагов автора – и в то же время читает, перечитывает и в короткое время раскупает двойное издание (2400 экземпляров) «Мертвых душ»... Это факт и очень многозначительный! Для удовлетворения своей жажды к чтению (а жажды к чтению в ней нельзя отрицать) она ищет все нового, большею частию забывая старое. Попробуйте сказать слово, что в Ломоносове, Державине, Карамзине есть не только достоинства, но и недостатки, и что, писатели прошлой эпохи, они для нас уже далеко не то, чем были для наших отцов и дедов, – и тотчас же многие закричат, что у вас нет уважения к заслуженным авторитетам, что вы нагло топчете в грязь великие имена и т. п. И в публике сейчас же раздадутся голоса: «Да, да, в самом деле! как это можно, на что это похоже!» И, вы думаете, это говорят люди, изучившие Ломоносова, Державина, Карамзина? Нисколько; они даже и не читали этих писателей, но они привыкли по-

наслышке уважать эти имена... Оттого-то иным и легко их уверять в чем угодно, и заставлять смотреть на дельную критику, которая силится показать истинное значение писателя, как на злонамеренную брань.

Та же незрелость и шаткость и в нашей литературе. У нас есть поборники европеизма, есть славянофилы и др. Их называют литературными партиями. Смешное название! Всякие партии имеют свои корни в обществе и бывают отголосками, или выражением различий и противоречий общественного мнения. Наши же партии состояются из литературных кружков, из которых в каждом случайно набралось человек десяток, сошедшихся на вечере, за чаем в некоторых невинных литературных мнениях и вкусах. И эти-то кружки называют себя «партиями». В добрый час! Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало! Литераторство у нас – дело между другими важнейшими делами, отдых от служебных занятий, а чаще всего оно имеет простое значение лишних полутора или двух тысяч рублей в год, вдобавок к жалованию. Много ли у нас литераторов, которые посвятили себя одной литературе, по призванию, по страсти к ней. – У нас уже понимают, что занятие литературою *между прочим*, – дело очень почтенное, особенно, если оно прибыльно...

При таком направлении публики странно было бы требовать литературы в настоящем смысле этого слова. С другой стороны, и литература наша только в немногих своих исключениях выше этой публики; но, взятая вообще, совершенно

по плечу ей. Наши литераторы большею частию не артисты, а дилетанты, которые, между делом и бездельем, почитывают и пописывают. Они убеждены, что можно прежде всего делать что-нибудь, хоть спекуляции, а потом, в свободное от главных занятий время, почему и не написать чего-нибудь – ведь оно же и выгодно, между прочим. Они убеждены, что если кто написал в жизнь свою три порядочные романа, то уже великий писатель; а кто настрочил десяток фельетонов – тот уже знаменитый литератор. Два-три стихотворения дают у нас право на известность; водевиль отворяет ворота в храм славы. Оттого, при всей бедности нашей литературы, у нас литераторов бездна. Особенно богат ими Петербург. Затейте новый журнал, новую газету, или, как теперь это более в ходу, воскресите старый журнал или газету, – вы ни за миллионы не найдете издателя, который дал бы новому изданию направление, жизнь и ход; зато сотрудников и особенно переводчиков не оберетесь. Даже не нужно искать и звать их – сами придут. Сто или двести из них принесут вам, на первый случай, по сотне стихотворений, в которых нет ни поэзии, ни смысла; пятьдесят принесут обещание – к такому-то числу представить по повести, и, при сей верной оказии, спросят вас, почем вы платите с листа; десять принесут вам, в самом деле, по повести, исполненной канцелярского юмора и чиновнической иронии, или высокого трагического пафоса à la Марлинский<sup>7</sup>, – что, однако, не снабдит вас материа-

---

<sup>7</sup> Под Марлинского. – *Ред.*

лом для вашего журнала. Что касается до критики и библиографии, – в Петербурге столько критиков и библиографов, что, при их помощи, вам легко было бы издавать сто толстых и тысячу тонких журналов. И немудрено: ведь в Петербурге родился тот знаменитый Иван Александрович Хлестаков, который сочинил и «Сумбеку», и «Фенеллу», и «Юрия Милославского», издавал «Библиотеку для чтения» и все журналы, издававшиеся в Петербурге... Критика у нас считается самым легким ремеслом; за нее берутся все с особенной охотой, и редко кому входит в голову, что для критики нужно иметь талант, вкус, познания, начитанность, нужно уметь владеть языком. Большая часть, напротив, думает, что для этого нужно только знать, что все наши – гении и таланты, а все не наши – люди не без таланта, если они нам не мешают, и люди бездарные, если мешают. Теория, как видите, самая простая, и чтоб понять ее сразу, не нужно учиться, трудиться, думать, развиваться, иметь мнение, взгляд, убеждение. И потому нет ничего обыкновеннее, как услышать жалобы, вроде следующих: «Скажите, пожалуйста, за что он (имя рек) разобрал мой роман, мою повесть, драму, водевиль, журнал или книгу? Что я ему сделал? Ведь мы с ним пишем в разных родах, или в разных журналах, и помешать друг другу не можем?» Почти никому в голову не входит, что можно, без всяких личных отношений к человеку, и даже зная его с хорошей стороны, уважая его характер и сердце, не любить его взгляда на тот или другой предмет и энергически

противодействовать этому взгляду, так же как можно, любя и уважая человека, не уважать его сочинений, как оскорбляющих вкус и ум. Значит: понимают энергию антипатии за соперничество по деньгам, по самолюбию, по известности и другим мелким страстишкам и пристрастьишкам; но не понимают энергии антипатии к тому, что кажется ошибочным мнением, ложным убеждением, умышленным или неумышленным заблуждением, безвкусием, бездарностью. Кто-нибудь издал плохой роман, в котором удачно польстил грубому вкусу большинства и чрез то приобрел большой успех,<sup>[19]</sup> – а вы написали критику, в которой показали в истинном свете незаконное чадо площадной фантазии: вы завистник, ибо вам никто не поверит, чтоб можно было рассердиться на книгу, которая до вас не касается; но все поверят, что можно взбеситься на чужой успех... И такие-то «нравы» существуют между классом так называемых литераторов!.. Оттого наши критики не занимаются старыми писателями, от которых им уже ни пользы, ни потери быть не может. Сегодня умер писатель, хотя бы великий, и завтра уже нечего толковать о нем, исключая разве случая, если его сочинения издаются и расход их может повредить расходу сочинений критика или его приятелей. Без этого случая критики наши говорят только о современных явлениях, как бы они ни были ничтожны, особенно если эти сочинения – их собственные. Зато, как тяжка у нас роль критика, проникнутого убеждением и не отделяющего вопросов об искусстве и литературе от во-

просов о своей собственной жизни, обо всем, что составляет сущность и цель его нравственного существования!.. И тем хуже ему, если он столько уважает истину и столько смиряется перед нею, что всегда готов отказаться от мнения, которое защищал с жаром и с энергиею, но которое, в процессе своего беспрерывно движущегося сознания, он уже не может более признавать за справедливое!.. Не смотрят на то, что перемена мнения не только не доставила и не могла доставить ему никакой пользы, но еще и поставила его или могла поставить в неприятное положение к людям, которые доверяли его авторитету, – не говоря уже о том, что отречься от своего мнения – значит признаться в ошибке, а это не совсем лестно для человеческого самолюбия, которое всегда склонно поддерживать, что дважды два – пять, а не четыре, лишь бы только казаться непогрешительным. А иметь свой взгляд, свое убеждение, судить на каких-нибудь основаниях, а не по голосу толпы – да это значит ни больше, ни меньше, как прослыть человеком беспокойным и безнравственным. Вздумайте писать не отрывочные фразы, но большие и дельные статьи, которые бы стоили вам много труда и размышления, например, о Державине, Жуковском, Батюшкове, Пушкине, Лермонтове – и на вас польется проливной дождь брани. Нужды нет, что вы говорите с доказательствами, с доводами; пусть в ваших статьях видны будут любовь и уважение к разбираемым вами писателям, – сейчас найдутся люди, которые закричат в один голос: «Ложь, пристрастие, неува-

жение к великим именам, дерзкое презрение к признанным всеми авторитетам!» И тщетно стали бы вы говорить в ответ на эти брани, что вы отнюдь не признаете себя непогрешительным и очень хорошо знаете, что можете ошибаться, подобно всем людям, но желаете, чтоб вам доказали вашу ошибку и показали, в чем именно и почему именно вы ошибаетесь: ваше желание, ваше справедливое требование никогда не будут выполнены, потому что противники ваши находят свои причины видеть ваши мнения ложными и пристрастными, но не находят в себе ни сил, ни умения, следовательно, и ни охоты доказать справедливость своего обвинения против вас. А что же делает в это время публика? Большая часть ее всегда охотнее присоединяется к этим крикунам, ибо если и большая часть наших литераторов, заправляющих мнением публики, под «критикою» разумеют брань, а слово «критиковать» объясняют словом «ругать», то как же иначе стало бы понимать критику большинство, толпа? У нас уж так исстари ведется: если кого хвалить, так уж все надо находить безусловно хорошим и позволяется слегка заметить что-нибудь, разве только о неисправности издания, опечатки и т. п.; а если кого бранить, так уж бей с плеча! Поэтому критики с самостоятельным взглядом у нас всегда играли очень неприятную роль. Для доказательства этого предлагаем здесь на выдержку несколько строк Мерзлякова, выписанных нами из «Вестника Европы» 1813 года (часть XLVII, стр. 224–227):

«Может быть, некоторые скажут, что у нас литература еще не весьма богата и не может удовлетворить всем требованиям общества; что критика еще не найдет обильного для себя поля и что ею заниматься рано. Но правда ли, что мы так бедны? Для чего обижать самим себя! Мы уже имеем превосходных писателей почти во всех родах словесности. Один Державин представляет огромнейший, разнообразный сад для ума и вкуса разборчивого! Кому не приятно внимать величественной лире Ломоносова? Кто откажется следовать за Богдановичем в очаровательные чертоги Амура? или, оживясь патриотизмом, стремиться на крылах пламенных за важным Херасковым под твердыни казанские, к грозным пожарам Чесмы! Но на что, возразят, касаться сих почтенных имен? Они уже освящены общим мнением! – Странное благоговение к мужам великим, – Думать, что мы делаем им честь, когда не смеем заглянуть в их сочинения, но смеем сказать об них ни слова! Такого рода уважение похоже на набожность китайцев, благоговеющих перед старыми своими книгами, которые, будучи неприступны для ума просвещенного, остаются корыстию мышей и времени! И у нас есть китайцы в сем смысле! Для чего ж и для кого трудились сии великие писатели? Хотели ль они быть полезными будущему поколению? Если хотели, то дали право разбирать свои сочинения! И кого ж другого почтить разбором, как не их? Только твердые камни полируются; слабые и легкие не стоят и не выносят

полировки.

«Странное мнение имеем мы о критике! Дитя не смотрит только на подаренные ему куклы, но их раскладывает, дает им места, разговаривает с ними; хороший библиотекарь не кидает книг в кучу, но дает им порядок, знает каждой цену и достоинство; садовник так же поступает с своими любимыми цветами и деревьями; он пользуется от трудов своих. Почему же мы, имея такие сокровища на языке российском, хотим знать их только по имени или, что еще хуже, повторять об них чужие мысли, часто неверные? для чего самому не иметь своего мнения, самому не наслаждаться? Мне докажут, что мнения мои ложны, — отступаюсь; но я человек и имею право — мыслить. *Но у нас мало писателей!* Итак, хотите ли, чтоб их число умножалось? Будьте к ним внимательнее, или то же, разбирайте их; от этого они умножаются и скорее достигают совершенства. — *Умножаются* — почему? Внимание публики возбуждает соревнование. Увидев, что истинное достоинство отличено, слабость обнаружена, увидев, сколь почтенно выйти из обыкновенного круга людей, всякий захочет испытать силы свои на столь блистательном поприще. Покажите важность искусства: атлеты не замедлят явиться. Я сказал: *скорее достигают совершенства*; писатель не достигнет его, если публика не в силах или не хочет судить об нем; ибо в руках публики — его награды; она раздражает его честолюбие и возбуждает к великим усилиям. Равнодушие наше — убийство словесности.

Публика и писатель друг друга награждают: писатель дает ей пищу; она его образует; один доставляет ей удовольствие, другая венчает его славою! Свидетели той и другой истины – все просвещенные государства Европы. Ни в какое время не было у них столько хороших писателей, как при царствовании критики».

Итак, на что жаловался умный литератор и что силился он растолковать назад тому ровно *тридцать лет*, на это же можно жаловаться и это же должно объяснять – теперь!!.. Вот как быстро и шибко подвигается вперед наше литературное образование!.. Сказано, что Державин велик: так зачем вам знать, *как, чем и почему* он велик; а если он велик, какие же у него могут быть недостатки? Чтоб узнать, почему он велик и какие в нем есть недостатки, надо его читать, изучать, думать о нем; а чтоб знать, что он велик и никаких недостатков не имеет, для этого не нужно прочесть ни одной его оды, что ведь гораздо легче! Так думают, хотя и не так говорят. И напрасно бы вы стали доказывать, что хотя Гомер и Шекспир и несравненно выше Державина, однакож и они, оставаясь попрежнему великими гениями, все-таки для нас не то, чем были в свое время, ибо жизнь неистощима в проявлениях творческой силы, и всякое время должно иметь свою поэзию, соответствующую требованиям этого времени. Вас не будут слушать, ибо требуют слов, а не идей, детских споров за имена, а не объяснения значений этих имен. «Как! – кричат вам, – пересчитывая знаменитых наших писателей,

вы имя Жуковского поставили после имени Батюшкова; – конечно, Батюшков был человек с талантом, но все же нельзя его равнять с Жуковским!» Или: «вы Пушкина поставили на одну доску с Баратынским!» При этих криках остается только заткнуть уши; вы видите, что вас не поняли, вашим словам придали детское значение, о котором вы и не думали, – и вам невольно становится стыдно собственных своих слов, и вы лучше хотите, чтоб вам приписывали какие угодно нелепости, нежели оправдываться и объясняться. Вы, например, сказали, что есть два рода великих поэтов: одни, с печатью олимпийского происхождения на челе, изображают мир как он есть, принимая его действительное состояние, во всякий данный момент, за непреложно разумное: и таков был величайший представитель этого рода поэтов – Шекспир, и к такому разряду поэтов принадлежит наш Пушкин; другие, недовольные уже совершившимся циклом жизни, носят в душе своей предчувствие ее будущего идеала; таков был величайший представитель этого рода поэтов – Байрон, и к такому разряду принадлежит наш Лермонтов. Вы сказали это для того, чтоб обозначить характер и дух поэзии Пушкина и поэзии Лермонтова, понимая всю неизмеримость расстояния, разделяющего великого мирового поэта Шекспира от великого русского поэта Пушкина, и громадного Байрона от безвременно погибшего юноши; а вам кричат: «Ого! вот как! Пушкин наравне с Шекспиром, Пушкин – Шекспир, а Лермонтов – Байрон!»... Что тут говорить! Все

важное так легко сделать смешным в глазах толпы, которая не вникает в дело и увлекается плоскою шуткою... Вот еще пример детскости понятий в русской литературе о критике: сколько литераторов, сколько критиков писало, пишет и, вероятно, еще долго будет писать, что дело критика – гладить по головке всякого писаку, в надежде, что авось-либо выйдет из него гений или талант, что строгая критика может убить возникающий талант, а о таланте-де нельзя судить по первому произведению. Напрасно станете вы возражать на это, что истинного призвания не убьет никакая критика – ни строгая, ни снисходительная, ни пристрастная, ни ложная; что не убиваются ею, особенно теперь, даже посредственность и бездарность и что не стоит жалеть о таланте, струсившем, по самолюбию, первого сурового приговора критики, ибо дороги таланты, а не талантики...

Но не будем вдаваться в крайности. Смешно было прошлое добродушное самохвальство русской литературы, которая так смело мерялась силами с любой европейскою литературою и на французскую даже смотрела с презрением, живя и дыша, в то же время, займами у нее; так же смешно может быть и отчаяние за русскую литературу. Будем смотреть на то, что есть, смело, не прикрашивая действительности мечтами и призраками, но будем смотреть на нее без ненависти и страха. У нас есть немного, – это правда, но есть же; не будем преувеличивать того, что имеем, но не будем и отказываться от того, что есть у нас. Наша литература на-

чалась с 1739 года (от появления первой оды Ломоносова), и для каких-нибудь *ста четырех* лет мы имеем даже много, если не будем считаться, словно с ровнями, с европейскими литературами, которые развились веками. Но важнее всего то, что наша юная, возникающая литература, как мы заметили выше, – имеет уже свою историю, ибо все ее явления тесно сопряжены с развитием общественного образования на Руси, и все находятся в более или менее живом, органически последовательном соотношении между собою.

Бедность русской литературы в настоящее время – также необходимое следствие исторического развития и хода ее вообще. Мы уже говорили об этом; но нам еще остается сказать кое-что. Мы с особенною подробностью развили ту мысль, что все роды попыток и опытов уже истощены, а потому обыкновенные таланты лишены возможности в чем-нибудь успевать, но мы только мимоходом заметили, что в то же время даны образцы истинного творчества, которым подражать нельзя и которые если не мешают с большим или меньшим успехом действовать талантам, то уже не подражательным, а самобытным, и которые убили совершенно возможность успеха для обыкновенных дарований, доселе игравших такую важную роль. Об этом стоит поговорить подробнее и обстоятельнее.

В некоторых русских журналах публика встречает постоянные выходки и нападки на Гоголя, уже давно начавшиеся. В них обыкновенно смеются над малороссийским *жар-*

том,<sup>[20]</sup> над украинским юмором и т. п. Недавно, в одном из таких журналов, по поводу разбора какой-то книги в юмористическом тоне, сказано:

«Надо сказать по совести: велика сила подражательности в нашей литературе! Мы долго не шутили; нас считали в Европе за народ серьезный и несколько угрюмый; говорили даже, будто мы всегда поем, но никогда не смеемся; все это могла быть правда в прежнее время; но дело в том, что у нас не было только образчиков порядочной шутки, настоящего степного *жартования*. С тех пор, как малороссийская фарса посетила нашу важную и чинную литературу под именем юмору, остроумие и веселость вдруг у нас развязались. Вот что значит – не испытать дела лично! Некогда остроумие казалось нам мудреною вещью! Мы с таким почтением снимали шляпу перед всяким остроумием! Попробовав сами этого чудного искусства, мы удивились его легкости. – *Ce n'est que fa?..*<sup>8</sup> – спросил каждый из нас у своего соседа с изумлением. – И шутливость вспыхнула из нас вулканом. Теперь мы шутим, *жартуем, фарсим*, как чумаки в степи».<sup>[21]</sup>

Автор этих строк хотел сказать одно, а вышло у него совсем другое. Он хотел пошутить, посмеяться, уколоть *кого-кого*, не называя его по имени, – и указал на факт современной русской литературы, факт, который трудно сделать смешным и не такому остроумному перу, каким владеет ав-

---

<sup>8</sup> Только то? – *Ред.*

тор выписанных нами строк. Факт этот состоит в том, что со времени выхода в свет «Миргорода» и «Ревизора» русская литература приняла совершенно новое направление. Можно сказать без преувеличения, что Гоголь сделал в русской романической прозе такой же переворот, как Пушкин в поэзии. Тут дело идет не о стилистике, и мы первые признаем охотно справедливость многих нападок литературных противников Гоголя на его язык, часто небрежный и неправильный. Нет, здесь дело идет о двух более важных вопросах: *о слоге и о создании*. К достоинствам языка принадлежит только правильность, чистота, плавность, чего достигает даже самая пошлая бездарность путем рутины и труда. Но слог, это – сам талант, сама мысль. Слог – это рельефность, осязаемость мысли; в слоге весь человек; слог всегда оригинален как личность, как характер. Поэтому у всякого великого писателя свой слог: слога нельзя разделить на три рода – высокий, средний и низкий: слог делится на столько родов, сколько есть на свете великих или по крайней мере сильно даровитых писателей. По почерку узнают руку человека и на почерке основывают достоверность собственноручной подписи человека: по слогу узнают великого писателя, как по кисти – картину великого живописца. Тайна слога заключается в умении до того ярко и выпукло изливать мысли, что они кажутся как будто нарисованными, изваянными из мрамора. Если у писателя нет никакого *слога*, он может писать самым превосходным *языком*, и все-таки неопределенность и – ее

необходимое следствие – многословие будут придавать его сочинению характер болтовни, которая утомляет при чтении и тотчас забывается по прочтении. Если у писателя есть слог, его эпитет резко определителен, всякое слово стоит на своем месте, и в немногих словах схватывается мысль, по объему своему требующая многих слов. Дайте обыкновенному переводчику перевести сочинение иностранного писателя, имеющего слог; вы увидите, что он своим переводом расплодит подлинник, не передав ни его силы, ни определенности. Гоголь вполне владеет слогом. Он не пишет, а рисует; его фраза, как живая картина, мечется в глаза читателю, поражая его своею яркою верностию природе и действительности. Сам Пушкин в своих повестях далеко уступает Гоголю, имея свой слог и будучи, сверх того, превосходнейшим стилистом, то есть владея в совершенстве языком. Это происходит оттого, что Пушкин, в своих повестях, далеко не то, что в стихотворных произведениях или в «Истории Пугачевского бунта», написанной по-тацитовски. Лучшая повесть Пушкина – «Капитанская дочка», далеко не сравнится ни с одною из лучших повестей Гоголя, даже в его «Вечерах на хуторе». В «Капитанской дочке» мало творчества и нет художественно очерченных характеров, вместо которых есть мастерские очерки и силуэты. А между тем повести Пушкина стоят еще гораздо выше всех повестей предшествовавших Гоголю писателей, нежели сколько повести Гоголя стоят выше повестей Пушкина. Пушкин имел сильное влияние

на Гоголя – не как образец, которому бы Гоголь мог подражать, а как художник, сильно двинувший вперед искусство и не только для себя, но и для других художников открывший в сфере искусства новые пути. Главное влияние Пушкина на Гоголя заключалось в той народности, которая, по словам самого Гоголя, «состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа». Статья Гоголя «Несколько слов о Пушкине» лучше всяких рассуждений показывает, в чем состояло влияние на него Пушкина. Приученная к тону и манере повестей Марлинского, русская публика не знала, что и подумать о «Вечерах» Гоголя. Это был совершенно новый мир творчества, которого никто не подозревал и возможности. Не знали, что думать о нем, не знали, слишком ли это что-то хорошее, или слишком дурное. Повести в «Арабесках»: «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего», потом «Миргород» и, наконец, «Ревизор» вполне обрисовали характер Гоголевой поэзии, и публика, равно как и литераторы, разделились на две стороны, из которых одна, преусердно читая Гоголя, уверилась, что имеет в нем русского Польде-Кока, которого можно читать, но под рукою, не всем признаваясь в этом; другая увидела в нем нового великого поэта, открывшего новый, неизвестный доселе мир творчества. Число последних было несравненно меньше числа первых, но зато последние, в этом случае, представляли собою публику, а первые – толпу. Наша толпа отличается невероятною чопорностию, достойною мещанских нравов: она всего

больше хлопочет о хорошем тоне высшего общества и видит дурной тон именно в тех произведениях, которые читаются в салонах высшего общества. Между тем реформа в романтической прозе не замедлила совершиться, и все новые писатели романов и повестей, даровитые и бездарные, как-то невольно подчинились влиянию Гоголя. Романисты и нувеллисты старой школы стали в самое затруднительное и самое забавное положение: браня Гоголя и говоря с презрением о его произведениях, они невольно впадали в его тон и неловко подражали его манере. Слава Марлинского сокрушилась в несколько лет, и все другие романисты, авторы повестей, драм, комедий, даже водевилей из русской жизни, внезапно обнаружили столько неподозреваемой в них дотоле бездарности, что с горя перестали писать, а публика (даже большинство публики) стала читать и обращать внимание только на молодых талантливых писателей, которых дарование образовалось под влиянием поэзии Гоголя. Но таких молодых писателей у нас немного, да и они пишут очень мало. И вот еще одна из главных причин бедности современной русской литературы! Если кто больше всего и больше всех виноват в ней, так это, без сомнения, Гоголь. Без него у нас много было бы великих писателей, и они писали бы и теперь с прежним успехом. Без него Марлинский и теперь считался бы живописцем великих страстей и трагических коллизий жизни; без него публика русская и теперь восхищалась бы «Девою чудною» барона Брамбеуса, видя в ней пучину остроумия,

бездну юмору, образец изящного *слогу*, сливки занимательности и пр. и пр.<sup>[22]</sup>

Гоголь убил два ложные направления в русской литературе: натянутый, на ходулях стоящий идеализм, махающий мечом картонным, подобно разбуряемому актеру и потом – сатирический дидактизм. Марлинский пустил в ход эти ложные характеры, исполненные не силы страстей, а кривляний поддельного байронизма; все принялись рисовать то Карлов Мооров в черкесской бурке, то Лиров и Чайльд-Гарольдов в канцелярском вицмундире. Можно было подумать, что Россия отличается от Италии и Испании только языком, а отнюдь не цивилизацией, не нравами, не характером. Никому в голову не приходило, что ни в Италии, ни в Испании люди не кривляются, не говорят изысканными фразами и не беспрестанно режут друг друга ножами и кинжалами, сопровождая эту резню высокопарными монологами. Презрение к простым чадам земли дошло до последней степени. У кого не было колоссального характера, кто мирно служил в департаменте или ловко сводил концы с концами за секретарским столом в земском или уездном суде, говорил просто, не читал стихов и поэзию предпочитал существенности, – тот уже не годился в герои романа или повести и неизбежно делался добычей сатиры с нравоучительной целью. И – боже мой! – как страшно бичевала эта сатира всех простых, положительных людей за то, что они не герои, не колоссальные характеры, а ничтожные пигмеи человечества. Она так безобразно

отделявала их своею мочальною кистию, своими грязными красками, что они нисколько не походили на людей и были до того уродливы, что, глядя на них, уже никто не решался брать взятки, ни предаваться пьянству, плутовству и проч. Прошло это время, – и общество, которое так хорошо уживалось с такою литературою, теперь часто ссорится с нею, говоря: как можно писать то-то, выставлять это-то, выдумать такое-то – и многие из этого общества чуть не со слезами на глазах клянутся, что ничего не бывает, например, подобного тому, что выставлено в «Ревизоре», что все это ложь, выдумка, злая «критика», что это обидно, безнравственно и пр. И все, довольные и недовольные «Ревизором», знают чуть не наизусть эту комедию Гоголя... Такое противоречие стоит того, чтоб обратить на него внимание.

Прежде сатира смело разгуливала между народом, среди белого дня и даже не заботилась об инкогнито, но прямо и открыто называлась своим собственным именем, то есть *сатирою*, – и никто не сердился на нее, никто даже не замечал ее гримас и кривляний. Отчего это? – оттого, что никто не узнавал себя в ней; оттого, что она нападала на пороки общие, которых всякий имеет полное право не принять на свой счет; оттого, что она была книгою, печатною бумагою, невинным школьным упражнением по классу риторики... И давно ли нраво-описательные, нравственно-сатирические романы, юмористические статьи и статейки являлись стаями, как вороны на крышах домов, каркая на проходящих во все воро-

нье горло? – и на них никто не сердился, даже как сердятся летом на докучных мух. Сочинитель гордо называл себя сатириком, гонителем людских пороков, – и гонимые люди без боязни подходили к своему гонителю, к дряхлому беззубому бульдогу, гладили его по толстой и лоснящейся шее и охотно кормили его избытком своей трапезы. Отчего это? – оттого, что пороки, которые гнал сатирик, были совсем не пороки, а разве отвлеченные идеи о пороках, риторические тропы и фигуры. Это были своего рода бараны и мельницы, с которыми храбро и отважно сражался сатирический дон-Кихот, – так же, как добродетель, за которую он ратовал, была для него воображаемая Дульцинеею, а для других – толстою, безобразною коровницею. Теперь нет сатиры и только разве какой-нибудь старый сочинитель решится величаться вышедшим из моды именем «сатирика»: теперь пишутся романы и повести без всяких сатирических намерений и целей, – а между тем все на них сердятся. Отчего ж это? – оттого, что теперь и великие и малые таланты, и посредственность и бездарность – все стремятся изображать действительных, не воображаемых людей; но так как действительные люди обитают на земле и в обществе, а не на воздухе, не в облаках, где живут одни призраки, то, естественно, писатели нашего времени, вместе с людьми, изображают и общество. Общество также – нечто действительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляют не одни костюмы и прически, но и нравы, обычаи, понятия, отношения и т. д. Человек, живу-

щий в обществе, зависит от него и в образе мыслей и в образе своего действия. Писатели нашего времени не могут не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человека, они стараются вникать в причины, отчего он таков или не таков, и т. д. Вследствие этого, естественно, они изображают не частные достоинства или недостатки, свойственные тому или другому лицу, отдельно взятому, но явления общие. Большинство же публики именно там-то и видит личности, где их нет и быть не может. Прежние так называемые сатирики именно списывали с известных им лиц – и казались в глазах всех неподлежащими упреку в личностях. И это очень понятно: сами оригиналы не узнавали себя в снятых с них копиях, потому что сатирики не могли печатно касаться обстоятельств того или другого лица и ограничивались общими чертами пороков, слабостей и странностей, которые, будучи *отвлечены* от живой личности, превращались в образы без лиц. Притом же эти *сатирики* смотрели на пороки и слабости людей, как на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, как на что-то произвольное, что это лицо могло иметь и не иметь по своей воле и что приобрести или от чего избавиться оно легко могло по прочтении убедительной сатиры, где ясно, по пальцам, доказана выгода и сладость добродетели и опасные, пагубные следствия порока. Вот почему эти добрые сатирики брали человека, не обращая внимания на его воспитание, на его отношения к обществу, и тормозили на досуге это созданное

их воображением чучело. В основание своего сатирического донкихотства они положили общественную нравственность, добродушно не подозревая того, что их сатиры, опирающиеся на общественную нравственность, ужасно противоречили этой нравственности. Так, например, в числе первых добродетелей они полагали безусловное повиновение родительской власти и в то же время толковали юношеству, что брак по расчету – дело безнравственное, что низкопоклонство, лесть из выгод, взяточничество и казнокрадство – тоже дела безнравственные. Очень хорошо; но что же иному юноше делать, если он с малолетства, почти с материнским молоком, всосал в себя мистическое благоговение к доходным должностям, теплым местам, к значительности в обществе, к богатству, к хорошей партии, блестящей карьере; если его младенческий слух был оглашен не словами любви, чести, самоотвержения, истины, а словами: *взял, получил, приобрел, надул* и т. п.? Положим, что такому юноше природа не отказала в человеческих чувствах и стремлениях; положим, что в нем пробудилась любовь к достойной, но бедной, простого звания девушке, любовь, запрещающая ему соединиться с противною ему богатою дураю, на которой, по расчетам, приказывают ему жениться; положим, что в юноше пробудилось человеческое достоинство, запрещающее ему кланяться богатому плуту или чиновному негодяю; положим, что в нем пробудилась совесть, запрещающая употреблять во зло введенные ему высшею властью весы правосудия и расхищать

зверенные его бескорыстию общественные суммы; что ему тут делать? Сатирик не затруднится от такого вопроса и, не задумавшись, ответит: «жениться на предмете любви своей, служить честно и верно отечеству»... Прекрасно; но где же повиновение родительской власти, где уважение к родительскому благословию, навеки нерушимому, где страх тяжкого отцовского проклятия?.. И потом, где уважение к общественному мнению, к общественной нравственности? Ведь общество не спрашивает вас, по любви или не по любви женились вы, а спрашивает, сколько вы взяли за женою и приличная ли она вам партия; общество не спрашивает вас, каким образом сделались вы богачом, когда ему известно, что ваш батюшка не оставил вам ни копейки, а за супругою вы взяли не бог знает что или и вовсе ничего не взяли: общество знает только, что вы богач, и потому считает вас очень хорошим – «благонамеренным» человеком... Послушайся наш юноша сатирика, что бы вышло? – отец его бросил бы, жалуясь на неповиновение и презрение к его власти; потом он прошел бы, с женою и детьми, через все мытарства, через все унижения голодной, неопрятной, оборванной бедности; видел бы к себе презрение общества, а за свою правоту, за свое бескорыстие был бы заклеямен от всех страшными названиями беспокойного, опасного и «неблагонамеренного» человека, вольнодумца и проч., и пр. И неужели вы, «благонамеренные» сатирики, бросите в него камень осуждения, если, истощась и обессилив в тяжелой и бесплодной борьбе, он

дойдет до страшного убеждения, что его бедность, его несчастья – необходимые следствия отцовского гнева, заслуженная кара за презрение общественного мнения и общественной нравственности?.. Но, к счастью или к несчастью – не знаем, право, – такие случаи весьма редки, как исключения из общего правила. По большей части бывает так: юноша недолго колеблется между любовью и выгодною женитьбою, между «завиральными идеями» о бескорыстии и правоте и уважением общества: он женится на ком прикажут дражайшие родители, живет с женою, как все, то есть прилично содержит ее, воспитывает детей своих, как все, то есть прилично кормит и одевает их, учит по-французски и танцевать, а после этого первого и важнейшего периода воспитания отдаст в учебное заведение, потом выгодно пристраивает в службу, выгодно женит (или выдает замуж) и, умирая, отказывает им «благоприобретенное» на службе имение. И что же? В начале его поприща все превозносят его как почтительного сына, в конце поприща – как нежного супруга, примерного отца, «благонамеренного» чиновника и заключают так: «вот что значит уважение к общественной нравственности! вот что значит родительское благословение, навеки нерушимое!» Итак, наш «благонамеренный» сатирик, бич пороков, самым нелепым образом противоречил самому себе: поставив выше всех добродетелей повиновение не богу, не истине, а эгоистическим расчетам, он в то же время учил юношу следовать свободному выбору сердца, как знамению благо-

словения божия, и запрещал ему торговать священнейшими склонностями своей души; поставив выше всякой награды любовь и уважение общества, он в то же время учил юношу оскорблять основные правила этого самого общества... Впрочем, он это делал, сам не зная, что делает, и поэтому его сатиры не производили никаких следствий. Бывало, выйдет сатирический роман с похождением какого-нибудь пройдохи, вроде известных похождений Совестьдראה-Большого-Носа, – роман, в котором уже самые имена действующих лиц – *Ухорезовы, Надуваловы, Шлюхины, Правосудовы, Беспристрастовы, Бескорыстны, Миловидины, Правдолобовы* и т. п. обнаруживали нравственную мысль сочинителя, – и что же? – самый отъявленный взяточник, самый бесчестный казнокрад, самый отчаянный шулер читал этот роман с удовольствием и везде расхваливал его вслух, говоря: «Какой славный слог! во всем чистейшая нравственность; добродетель торжествует, порок наказан – чего же больше? чудесный роман!»

Теперь это блаженное время прошло безвозвратно, вместе с детством нашей литературы. Теперь выходят из моды и герои добродетели и чудовища злодейства, ибо ни те, ни другие не составляют массы общества. Вместо их действуют люди обыкновенные, каких больше всего на свете, – ни злые, ни добрые, ни умные, ни глупые, по большей части положительно необразованные, положительно невежды, но отнюдь не дураки. Их смешное заключается в противоречии

их слов с делами, в лицемерном и превратном смысле, в каком они говорят о добродетели, о бескорыстии, о благонамеренности. А они говорят *все* как *один*: следовательно, этот «один» или эти «все» есть общество. Неужели же, скажут нам, наше общество стоит на такой низкой ступени, что ничего не может дать писателю, кроме смешного и комического? Неужели наше общество уж до такой степени хуже и ничтожнее общества всех других государств Европы? – На этот вопрос мы можем отвечать и искренно и удовлетворительно. Кто знаком с современными европейскими литературами, тот не может не знать, что их направление, взятое вообще, а не частно, еще более юмористическое, чем направление нашей литературы. Прочтите, например, «Оливера Твиста» и «Бэрнеби Роджа» Диккенса, первого теперь романиста Англии, и вы убедитесь, что в просвещенной Англии, гордящейся тысячелетнею цивилизацией, так же много чудачков, оригиналов, невежд, глупцов, плутов, мошенников, воров, как и везде, да еще, в придачу, много таких злодеев и извергов, которые в других странах попадаются только как редкие исключения. Прочтите «Les Mysteres de Paris»<sup>9</sup> Эжена Сю<sup>[23]</sup> – и вы порадуетесь тому, что живете в Петербурге, а не в Париже, и что если в тесной толпе рискуете иногда лишиться платка, часов, кошелек, зато никогда не трепещете за свою жизнь... Но, скажут нам, в «Бэрнеби Родже» и в «Парижских тайнах» есть несколько и таких лиц, на которых

---

<sup>9</sup> «Парижские тайны». – *Ред.*

отдыхает душа читателя, утомленная зрелищем злодейств, – правда; но зато нельзя не согласиться, что добродетельные лица в романе Диккенса бесцветны и скучны; таковы идеальная Эмма, ее возлюбленный Эдвард Честер, Гэрдаль и мать Бэрнеби; а в «Парижских тайнах» – невероятны. Из добродетельных лиц романа Диккенса всех лучше милая, грациозная и кокетливая Долли, забавный оригинал, ее отец, мастер Уарден, и ее возлюбленный Джой: вы в них видите и слабости и странности, но еще более любите их за эти слабости и странности, через которые и узнаете в них живые человеческие лица, действительные характеры, а не картонные куклы с надписями на лбу: *гонимая добродетель, несчастная любовь, идеальная дева*, и т. п. В «Парижских тайнах» также лучшие лица – не самые добродетельные, как идеальный и небывалый Родольф, а те, в которых добрые *природные* начала борются с *искусственными*, то есть привитыми обстоятельствами и враждебным влиянием общественного устройства, как, например: Шуринер, Марсиаль, – и, право, гризетка Риголетта правдоподобнее Гуалёзы... Люди везде люди; ни один народ не хуже другого; везде есть злоупотребления, пороки, странности, противоречия слов с делами и дел с словами, нравственных понятий с истинною нравственностью. Вся разница в формах и отношениях. У нас проситель иногда заходит с заднего крыльца к своему судье с секретными доказательствами правоты своего дела; в Англии и Франции кандидаты на разные выборные должности низкими интри-

гами и подкупамии располагают избирателей в свою пользу. И тут и там – богатая жатва для наблюдательного живописца общества. Здесь опять могут нам сказать, что нечего и хлопотать попустому, не из чего и раздражать того и другого, третьего и четвертого, если люди всегда были людьми и всегда будут ими. Да, люди всегда будут людьми – прежние не лучше и не хуже нынешних, нынешние не лучше и не хуже прежних; но общество улучшается, и на его улучшении основан закон развития целого человечества. Было время, когда даже истинно добрые, благородные и умные люди были убеждены в существовании чернокнижия и с ревностью, одушевляемые желанием общего блага, жгли чернокнижников; теперь и злые, и глупые, и невежественные люди уже не верят чернокнижию и чужды желания жечь живых людей даже и за действительные преступления. Что это значит? – то, что люди и теперь остались теми же, какими были, а общество улучшилось. Во все века бывали мудрые и благие законодатели, но только в XVIII веке могли огласить мир изреченные с трона божественные слова: «Лучше простить десять виновных, нежели наказать одного невинного». Что это значит, если не то, что люди все те же, а общество улучшается?.. Современники благословляли в России век Екатерины Великой; мы, их потомки, подтвердили правдивость этого благословения, но, вместе с тем, мы имеем свои причины быть гордыми и счастливыми, что живем в настоящее, а не в другое какое-нибудь время... Что это значит, если опять

не то же, что люди и теперь те же, а общество ушло далеко вперед?.. Вот здесь-то и обнаруживается все благородство, вся благодетельность роли, какая назначена книгопечатанию самим провидением. Что прежде шло и развивалось с трудом и медленно, то теперь идет и развивается легко и быстро. А это тогда только и возможно, когда литература будет не забавою праздного безделья, а сознанием общества, когда она будет заниматься не стишками да сказочками, где влюбились да и женились, а будет верным зеркалом общества, и не только верным отголоском общественного мнения, но и его ревизором и контролером.

Общество не то, что частный человек; человека можно оскорбить, можно оклеветать – общество выше оскорблений и клеветы. Если вы неверно изобразили его, если вы придали ему пороки и недостатки, которых в нем нет, – вам же хуже; вас не станут читать, и ваши сочинения возбуждают смех, как неудачные карикатуры. Указать же на истинный недостаток общества значит оказать ему услугу, значит избавить его от недостатка. А можно ли за это сердиться? Кто ядовитее, язвительнее Гогарта изображал английское общество в лице всех его сословий – и, однакож, Англия не осудила Гогарта за *lesenation*<sup>10</sup>, но гордо именует его одним из любимейших и достойнейших сынов своих. Да и есть ли какая-нибудь возможность оскорбить сословие, выставив с смешной или даже предосудительной стороны одного из его членов? Всякое

---

<sup>10</sup> Оскорбление нации. – *Ред.*

сословие состоит из большого количества людей, а во всяком, даже небольшом, количестве людей найдутся всякого рода недостойные и низкие характеры, – не говоря уже о том, что не может быть сословия, которое бы не имело, вместе с добрыми сторонами, и своих дурных сторон; честь сословия состоит не в том, чтоб не иметь дурных сторон (ибо это решительно невозможное дело), а в том, чтоб уметь открывать глаза на свои дурные стороны и отрешаться от них. Кто усомнится в том, чтоб рыцарство средних веков не было цветом государств, красою общества своего времени, его благороднейшим сословием, что оно не совершило блистательнейших подвигов, не обессмертило себя великими делами? И между тем кому не известно, что это же самое рыцарство, вследствие духа тех грубых и варварских времен, грабило на больших дорогах купеческие обозы, разбойнически резало мирного путешественника, зверски злоупотребляло свою феодальную власть над вассалами и рабами? И, несмотря на то, потомки этого рыцарства – цвет аристократии современной Англии, нисколько не думают ни стыдиться, ни скрывать этого; они с восторгом читают романы Вальтера Скотта и гордятся ими, вместо того чтоб ненавидеть их, как пятно на чести своих предков, следственно, и на их собственной чести. Это доказывает сколько сознание национального величия, столько и зрелость развития общественности в Англии.

Ничему другому, как робкому несознанию собственно национального величия и незрелости нашей обществен-

ности, можно приписать эту раздражительность, которая во всем видит неуважение то к тому, то к другому сословию. Как скоро выведен в повести чиновник, на шее которого пренелепо повязан галстук, а на руках блестят засаленные желтые перчатки, как свидетельство его тщетных претензий на щегольство хорошего тона, тотчас все чиновники обижаются, говоря: «Вот как нас отделяют; служи после этого!» Они как будто и не хотят знать, что можно быть неуклюжим, неловким в обществе, и в то же время можно быть умным, благородным человеком и хорошим чиновником, – не хотят знать, что если один чиновник дурно и неопрятно одевается, имея претензии на светскость, из этого еще нисколько не следует, чтоб все чиновники походили на него. Если воин окажется на сражении чудеса храбрости и получит георгиевский крест, ведь его товарищи, не участвовавшие в деле или не отличившиеся в нем, не почитают себя вправе жаловаться, что им не дали этого креста: какое же будут иметь право оскорбляться все военные, если об одном из них (и то вымышленном лице) напечатают в сказке, что ему случилось струсить на сражении, как, например, князю Блёткину, выведенному в романе г. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году»? И если г. Загоскин, сам участвовавший в великой отечественной войне, вывел, между многими храбрыми лицами своего романа, одного труса, – может ли такая, впрочем, всегда и везде возможная черта служить пятном для армии, которая сражалась под Бородиным и в числе предво-

дителей своих имела Баркляя-де-толли, Кутузова, Багратиона, Ермолова, Милорадовича, Раевского и многих других, известных и славных в мире? Было время, когда наши писатели только и делали что нападали на русское общество высшего и среднего круга за его страсть к французскому языку. Это был действительно недостаток со стороны нашего общества; но могли ли оскорбить его нападки, и притом еще не совсем несправедливые, писателей, когда оно знало, что те же самые офицеры гвардии, которые по-русски объяснялись только по официальным делам службы, геройски жертвовали своей жизнью в битвах против тех же самых французов, язык которых они больше любили и лучше знали, чем свой родной?..

Сатира – ложный род. Она может смешить, если умна и ловка, но смешить, как остроумная карикатура, набросанная на бумагу карандашом даровитого рисовальщика. Роман и повесть выше сатиры. Их цель – изображать верно, а не карикатурно, не преувеличенно. Произведения искусства, они должны не смешить, не поучать, а развивать истину творчески-верным изображением действительности. Не их дело рассуждать, например, об отеческой власти и сыновнем повиновении: их дело – представить или норму истинных семейственных отношений, основанных на любви, на общем стремлении ко всему справедливому, доброму, прекрасному, на взаимном уважении к своему человеческому достоинству, к своим человеческим правам; или изобразить укло-

нение от этой нормы – произвол отеческой власти, для корыстных расчетов истребляющей в детях любовь к истине и добру, и необходимое следствие этого – нравственное искажение детей, их неуважение, неблагодарность к родителям. Если ваша картина будет верна – ее поймут без ваших рассуждений. Вы были только художником и хлопотали из того, чтоб нарисовать возникшую в вашей фантазии картину как осуществление возможности, скрывавшейся в самой действительности; и кто ни посмотрит на эту картину, всякий, пораженный ее *истинностью*, и лучше *почувствует и сознает* сам все то, что вы стали бы толковать и чего бы никто не захотел от вас слушать... Только берите содержание для ваших картин в окружающей вас действительности и не украшайте, не перестраивайте ее, а изображайте такую, какова она есть на самом деле, да смотрите на нее глазами живой современности, а не сквозь закоптелые очки морали, которая была истинна во время оно, а теперь превратилась в общие места, многими повторяемые, но уже никого не убеждающие... Идеалы скрываются в действительности; они – не произвольная игра фантазии, не выдумка, не мечты; и в то же время идеалы – не список с действительности, а угаданная умом и воспроизведенная фантазией возможность того или другого явления. Фантазия есть только одна из главнейших способностей, условливающих поэта; но она одна не составляет поэта; ему нужен еще глубокий ум, открывающий идею в факте, общее значение в частном явлении. Поэты, которые

опираются на одну фантазию, всегда ищут содержания своих произведений за тридевять земель в тридесятом царстве или в отдаленной древности; поэты, вместе с творческой фантазией обладающие и глубоким умом, находят свои идеалы вокруг себя. И люди дивятся, как можно с такими малыми средствами сделать так много, из таких простых материалов построить такое прекрасное здание...

Этот творческую фантазию и этим глубоким умом обладает в замечательной степени Гоголь. Под его пером старое становится новым, обыкновенное – изящным и поэтическим. Поэт национальный более, нежели кто-нибудь из наших поэтов, всеми читаемый, всем известный, Гоголь все-таки не высоко стоит в сознании нашей публики. Это противоречие очень естественно и очень понятно. Комизм, юмор, ирония – не всем доступны, и все, что возбуждает смех, обыкновенно считается у большинства ниже того, что возбуждает восторг возвышенный. Всякому легче понять идею, прямо и положительно выговариваемую, нежели идею, которая заключает в себе смысл, противоположный тому, который выражают слова ее. Комедия – цвет цивилизации, плод развившейся общественности. Чтоб понимать комическое, надо стоять на высокой степени образованности. Аристофан был последним великим поэтом древней Греции. Толпе доступен только внешний комизм; она не понимает, что есть точки, где комическое сходится с трагическим и возбуждает уже не легкий и радостный, а болезненный и горький смех.

Умирая, Август, повелитель полумира, говорил своим приближенным: «Комедия кончилась; кажется, я хорошо сыграл свою роль – рукоплещите же, друзья мои!» В этих словах глубокий смысл: в них высказалась ирония уже не частной, а исторической жизни... И толпа никогда не поймет такой иронии. Таким образом, поэт, который возбуждает в читателе созерцание высокого и прекрасного и тоску по идеалу изображением низкого и пошлого жизни, в глазах толпы никогда не может казаться жрецом того же самого изящного, которому служат и поэты, изображавшие великое жизни. Ей всегда будет видеться *жарт* в его глубоком юморе, и, смотря на верно воспроизведенные явления пошлой ежедневности, она не видит из-за них незримо присутствующие тут же светлые образы. И еще много времени пройдет, и много новых поколений выступит на поприще жизни прежде, чем Гоголь будет понят и оценен по достоинству большинством.

«Сочинения Николая Гоголя» в четырех томах означены 1842 годом, но вышли они в феврале прошлого года, а потому и должны принадлежать к литературным явлениям 1843 года. Имея в виду в скором времени, в особой статье, в отделе «Критики», рассмотреть подробно все сочинения Гоголя, – мы не будем теперь распространяться насчет этих четырех томов.<sup>[24]</sup> Это повлекло бы нас слишком далеко и заставило бы выйти из пределов журнальной статьи, ибо об одном «Театральном разезде после первого представления комедии» можно написать целую статью. В этих четырех томах

между старым много и нового, а некоторые пьесы или поправлены и дополнены, или вовсе переделаны автором.

Из книг, вышедших в прошлом году, замечательнейшие суть не более, как издания разных сочинений, уже бывших известными публике из журналов и альманахов. Да и того так немного, что без труда можно перечесть.

«На сон грядущий» – вторая часть сборника сочинений графа Соллогуба. В ней помещены уже известные публике пьесы: «Приключение на железной дороге», «Аптекарьша», «Ямщик, или шалость молодого гусарского офицера (драматическая картина)», «Лев», «Медведь», и новая пьеса: «Неоконченные повести». – «Аптекарьша» и «Медведь» принадлежат к числу лучших произведений даровитого автора; читателям уже известно наше мнение об этих двух повестях графа Соллогуба.<sup>[25]</sup> «Приключение на железной дороге» – легонький, по содержанию, рассказ, исполненный, впрочем, простоты и истины и изложенный с обыкновенным искусством автора «Аптекарьши». – «Ямщик» не чужд прекрасных подробностей и верно схваченных черт русского быта; но в целом – это довольно слабое произведение. Герой (генерал Северин) этой драматической картины – лицо до крайности сентиментальное и неправдоподобное; монологи его – риторика. В представлении быта крестьянского много промахов против истины действительности; зато превосходно лицо Саввы Саввича, равно как и его неотлучного Ларьки; оба они в высшей степени верны. «Лев» – мастерской типич-

ческий очерк одного из самых характеристических явлений светской жизни. «Неоконченные повести» обещают нам целый ряд прекрасных рассказов, если только автор захочет в самом деле воспользоваться этою счастливою мыслию. Первая повесть, которою начинается ряд «неоконченных повестей», исполнена сильного интереса и потрясает душу читателя благородною простотою изложения глубоко прочувствованного автором содержания. А содержание это так же просто, как и его изложение; это одна из тысячи историй, которые так часто совершаются в глазах всех, при свете дневном, и которые все-таки не многими замечаются...

О «Сочинениях Зенеиды Р-вой» была в «Отечественных записках» особая статья, в которой подробно изложено наше мнение о повестях этой даровитой писательницы, столь рано похищенной смертью у русской литературы.<sup>[26]</sup> В четырех частях «Сочинений Зенеиды Р-вой» только одна новая, нигде прежде не напечатанная повесть; это – вторая часть «Напрасного дара», не оконченная по причине внезапной смерти автора...

Небольшая книжка «Повестей А. Вельтмана», вышедшая в прошлом году, содержит в себе пять рассказов, из которых четыре были уже давно напечатаны в разных журналах. При бедности современной русской литературы эта книжка была приятным явлением.

В прошлом же году вышли второй и третий томы «Сказки за сказкой». В них были, между прочим, помещены весь-

ма интересные повести и рассказы г. Кукольника: «Поэзументы», «Монтекки и Капулетти, или Чернышевский мир», и «Часовой»; особенно хороша повесть «Поэзументы». В этом же бессрочном издании напечатана богатая хорошими частностями повесть казака Луганского: «Савелий Граб, или Двойник».

В прошлом же году вышли два тома «Повестей и рассказов» г. Кукольника. В первом из них помещено шесть уже известных публике рассказов из времен Петра Великого: «Лихончиха», «Новый год», «Благодетельный Андроник», «Капустин», «Сказание о синем и зеленом сукне», «Прокурор». Все эти повести и рассказы исполнены большого интереса и обнаруживают в авторе много поэтической сноровки и исторического такта. Но повести и рассказы второго тома, за исключением «Психеи», богатой прекрасными частностями, не заслуживают никакого внимания и могут быть употребляемы только разве как лекарство от бессонницы, и в этом случае с большою пользою...

В начале прошлого года вышли «Сочинения Державина» в четырех частях; издание во всех отношениях более неудовлетворительное, чем удовлетворительное, как мы и имели уже случай доказать в свое время.<sup>[27]</sup>

Из новых произведений, появившихся в прошлом году, можно указать только на небольшую поэму «Параша», которая по необыкновенно умному содержанию и прекрасным, поэтическим стихам была бы замечательным явлением и не

в такое бедное для литературы время, как наше.

«Сельское чтение», издаваемое князем Одоевским и г. Заблоцким и дважды изданное в прошлом году, по своей цели и назначению должно относиться больше к числу полезных, чем беллетристических книг. Необыкновенный успех этой прекрасно составленной книжки породил множество неудачных подражаний.

По части оригинальных беллетристических произведений, вышедших в прошлом году, больше не о чем говорить: ведь не начать же рассуждать о таких творениях, каковы: «Были и небылицы» г. Ивана Балакирева, многочисленные творения *автора* «Мужа под башмаком»; «Дочь разбойника, или Любовник в бочке» г-на Ф. Кузмичева; «Клятва при гробе матери, или Мститель за убийство», драма г. Голощанова; «Старичок Весельчак, рассказывающий давние московские были» (Москва, издание *четвертое*), «Разгулье купеческих сынков в Марьиной роще, или поваливай! наши гуляют!» Истинно сатирическая повесть 1835 года, с цыганскими песнями (Москва, издание *пятое*); «Козел Бунтовщик, или Машина свадьба» г. Базилевича (Москва, издание *третье*); «Стенька Разин, атаман разбойников»; «Казачи» г. Кузмичева; «Князь Курбский» г. Ф.(Θ)едорова и разные сочинения гг. Скосырева, Куражского, Калачилина, Классена, Милькеева, Графчикова, Колотенко и пр.

Из переводных книг беллетристического содержания, вышедших в прошлом году, замечательны: «Мысли Паска-

ля», перевод г. Бутовского; *тринадцатый* выпуск издаваемого г. Кетчером «Шекспира», заключающий в себе комедию «Укрощение строптивой»; первый и второй выпуски издаваемого г. Тимковским «Испанского театра», заключающие в себе комедии: «Жизнь есть сон» и «Саламейский алькальд»; прозаический перевод г. Фан-Дима «Божественной комедии» Данте, превосходно изданный с рисунками Флакмана, и стихотворный перевод Шиллера «Вильгельма Телля», г. Ф. Миллера.

Из оригинальных сочинений учено-беллетристического содержания в прошлом году замечательны: «Прогулка русского в Помпеи» г. Лавшина; «Описание турецкой войны в царствование Императора Александра, с 1806 до 1812 года», новое творение знаменитого нашего военного историка, генерал-лейтенанта Михайловского-Данилевского; «Странствователь по суше и морям» (две книжки), интересные и живые рассказы, самым приятным образом знакомящие читателя с разными странами, народами и племенами земного шара; «Описание Бухарского ханства» г. Н. Ханькова; третий том компактного издания «Истории государства российского» Карамзина; пятнадцатый (и последний) том второго издания Голикова «Деяний Петра Великого»; второе издание «Руководства к познанию средней истории, для средних учебных заведений» г. Смарагдова; «История Малороссии» г. Маркевича и «История Петра Великого» г. Полевого.

Специально ученая литература все более и более пред-

ставляет самые утешительные результаты, – для чего достаточно указать только на «Акты археографической комиссии» и на издание «Остромирова евангелия»; но как предмет нашей статьи – преимущественно книги по части изящной словесности или беллетристики, имеющие интерес не для некоторых только ученых, но общий – для всех образованных людей, то мы и не будем распространяться о специально ученых явлениях прошлогодней литературы.

Нам остается теперь сделать перечень всего замечательного по части изящной литературы, оригинальной и переводной, что явилось, в продолжение 1843 года, в журналах, ненасытимую жадность которых обвиняют в поглощении всей русской литературы. Посмотрим, сколько сочинений успело съесть это чудовище, то есть наша журналистика... Но, увы! мы боимся, чтоб этот левиафан литературного мира не превратился в одну из тех тощих крав, которых видел во сне фараон и которые не потолстели, съев тучных крав!.. Наши сочинения не так жирны и не так многочисленны, чтоб от них могли слишком жиреть наши журналы, – и если б мы не решились в этой статье говорить об общем значении современного состояния литературы, а приступили бы прямо к обзору литературных явлений прошлого года, показавшихся отдельно и помещенных в журналах, наша статья поневоле вышла бы очень коротка.

Начнем с стихотворений. Прошлый 1843 год, вероятно, *последний* богатый в этом отношении год: в продолже-

ние его напечатано (в «Отечественных записках») несколько посмертных стихотворений Лермонтова. Из них: «Незабудка», «Избави бог», «Смерть», «Когда весной разбитый лед», «Ребенка милого рождение», «Они любили друг друга», «К портрету старого гусара», «Посвящение», приписанное в конце поэмы «Демон», равно как и отрывочно напечатанная поэма «Измаил-Бей», принадлежат к самой ранней эпохе поэтической деятельности Лермонтова и замечательны не столько в эстетическом, сколько в психологическом отношении, как факты духовной личности поэта. В эстетическом отношении эти пьесы поражают то энергическим стихом, то могучим чувствованием, то яркою мыслию; но в целом они довольно слабы и отзываются юношескою незрелостью. Пьесы: «Романс к \*\*\*», «Не плачь, не плачь, мое дитя», «Из-под таинственной, холодной полумаски», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Сон», равно интересные как в эстетическом, так и в психологическом отношении, принадлежат, без всякого сомнения, к эпохе полного развития могучего таланта незабвенного поэта; а пьесы: «Утес», «Дубовый листок оторвался от ветки родимой», «Морская царевна», «Тамара» и «Выхожу один я на дорогу» принадлежат к лучшим созданиям Лермонтова. Все эти пьесы составят четвертую часть изданных в 1842 году «Стихотворений М. Лермонтова», которая скоро должна выйти в свет. В «Современнике» была помещена корсиканская повесть «Маттео Фальконе», переделанная Жуковским из Шамиссо стихами,

с присовокуплением интересного письма автора к издателю «Современника»: письмо это заключает в себе изложение теперешнего взгляда знаменитого поэта на поэзию. — Стихотворения нынче мало читаются, но журналы, по уважению к преданию, почитают за необходимое сдабриваться стихотворными продуктами, которых поэтому появляется еще довольно много. Из них можно указать в особенности на довольно многочисленные стихотворения г. Фета, между которыми встречаются истинно поэтические, и на стихотворения Т. Л. (автора «Параши»), всегда отличающиеся оригинальностью мысли. Попадают в журналах стихотворения и других поэтов, более или менее исполненные поэтического чувства, но они уже не имеют прежней цены, и становится очевидным, что их творцы или должны, сообразуясь с духом времени, перестроить свои лиры и запеть на другой лад, или уже не рассчитывать на внимание и симпатию читателей...

Оригинальными повестями прошлогодние журналы значительно беднее журналов третьего года. Мы разумеем здесь *качественную*, а не *количественную* бедность. В каждой книжке каждого журнала (за исключением «Москвитянина») непременно есть русская повесть, но *какая* — это другое дело. Вот перечень лучших оригинальных повестей в прошлогодних журналах. «Тля» г. Панаева, «Чайковский» г. Гребенки, «Из Записок неизвестного», юмористический очерк Сергея Нейтрального (в «Отечественных записках»), «Вакх Сидоров Чайкин» В. Луганского, «Райна, короле-

ва Болгарская» г. Вельтмана (в «Библиотеке для чтения»), «Жизнь человека, или прогулка по Невскому проспекту» Луганского, «Хмель, сон и явь» его же (в «Москвитянине»), «Черный таракан» (фантастический роман из жизни одного чиновника) В. Зотова (в «Репертуаре и Пантеоне»). Сверх того в «Отечественных записках» были помещены повести: «Ярмарка» г-жи Закревской, «1812 год в провинции», рассказы Г. Ф. Основьяненко, «Ничего», «Хроника петербургского жителя» барона Ф. Бюлера, «Две сестры» г-жи Жуковой, «Дженнат и Бока», чеченская повесть Л. Ф. Екельна, «Необыкновенный завтрак» Н. А. Некрасова; в «Библиотеке для чтения»: «Хозяйка» г. Ф. Фан-Дима, «Историческая красавица» Н. В. Кукольника, «Гримаса моего доктора» И. И. Лажечникова, «Волгин» г. В., «Хижина под скалами» г. П. Корсакова, «Идеальная красавица» барона Брамбеуса.

«Тля» г. Панаева отличается свойственно этому писателю сатирической меткостью. Собственно, это не повесть, а очерк, отличающийся верностью действительности. Жаль, что этот очерк имеет слишком местное значение и вне Петербурга теряет много своего интереса. «Чайковский» г. Гребенки исполнен превосходных частных, обнаруживающих в авторе несомненное дарование. Характер полковника, отца героини повести, многие черты исторического малороссийского быта поражают своею поэтической верностью. Но целое этой повести не выдержит строгой критики. Особенно вредит ей мелодраматизм. Мстительная цыганка-кол-

дунья, злодей Герцик, кстати укусившая его змея – все это мелодраматические эффекты. Тем не менее, повесть г. Гребенки была одною из лучших повестей прошлого года. «Из записок неизвестного» – очерк, исполненный легкого юмора и приятный в чтении. «Вакх Сидоров Чайкин» – одна из лучших повестей казака Луганского, исполненная интереса и верно схваченных черт русского быта. Замечательна по ловкому и приятному рассказу его же «Жизнь человека», но «Хмель, сон и явь» имеет достоинство психологического портрета русского человека, мастерски схваченного с натуры. Эта повесть имела бы большой интерес и была бы очень полезна и для читателей низшего разряда: почему ее приятно было бы увидеть перепечатанною в «Сельском чтении». «Райна, королева Болгарская» – не повесть, а фантазмагория, подобно всем произведениям г. Вельтмана. Действующие лица говорят в ней двумя манерами: то языком совершенно понятным для нас, но отличающимся колоритом древнеболгарским, то языком романов нашего времени. Один из главных героев фантазмагии – русский князь Святослав, которого г. Вельтман рисует нам так обстоятельно, как будто бы сам жил в его время и все видел своими глазами. Удивительнее всего в этой повести, что местами она не лишена интереса. «Черный таракан» – рассказ не без юмора и не без занимательности. Нам нужды нет знать, тот ли это г. Зотов написал ее, который пишет такие ужасные драмы, стихотворения, «Театралов», «Побрякушки» и пр., или со-

всем другой г. Зотов: мы знаем только, что его «Черный таракан» – очень недурная вещь.

Из драматических произведений, напечатанных в журналах вместо повестей, замечателен, как мастерской эскиз, но не больше, драматический очерк г. Т. Л. (автора «Параши») «Неосторожность».<sup>[28]</sup> В «Библиотеке для чтения» были помещены: «Монумент», исторический анекдот, в трех картинах, в стихах и в прозе г. Кукольника (несмотря на натянутость пафоса, вещь не без достоинства); «Ломоносов, или жизнь и поэзия» г. Полевого, «Проект» его же, «Братья», драма в пяти действиях г. Каменского.

Вот и все наши беллетристические сокровища за прошлый год! Нисколько не удивительно, что от этой пищи наши журналы не стали здоровее... Говоря о переводных пьесах, мы будем упоминать только о более замечательных, а о посредственных или обыкновенных умолчим вовсе. В «Отечественных записках» были помещены: «Андре», роман Жоржа Занда, одно из лучших произведений этого автора, даже по сознанию самих врагов его. «Эмё Вер», роман какого-то француза, очень ловко прикидывающегося Вальтером Скоттом, доказывает ту истину, что когда гений проложит новую дорогу в искусстве, то и обыкновенные таланты могут ходить по ней с успехом. Впрочем, у автора «Эмё Вера» много дарования; роман его исполнен интереса; многие характеры, и особенно пастора-фанатика Барбантана, братьев Рено и Гаспара, матери их, г-жи Монмор, обрисованы

мастерски; многие сцены исполнены необыкновенного драматизма. «Солидный человек», роман Шарля Бернара, отличается обыкновенными достоинствами всех сочинений этого даровитого писателя. Это – мастерская картина современного французского общества. Не по изложению, а по содержанию заслуживает упоминования «Жена золотых дел мастера», повесть Шарля Ребо; писатель с большим талантом мог бы чудесным образом воспользоваться подобным сюжетом. – В «Библиотеке для чтения» лучшие переводные повести – «Лавка древностей», роман Диккенса. «Лавка древностей» слабее других романов Диккенса; в ней он повторяет самого себя, и лица этого романа, равно как и его пружины, уже не поражают новостью. «Умницы» – переделка из романа мистрисс Троллоп интересна как картина, хотя уже не новая, но всегда верная, нравов современного английского общества. «Последний из баронов», роман Бальзака, довольно занимателен как историческая картина положения ученого в варварские средние века. – В «Современнике» в продолжение всего прошлого года тянулся начатый еще в 1842 году роман шведской писательницы Фредерики Бремер «Семейство, или домашние радости и огорчения». Он вышел теперь весь отдельно, и потому мы изложили наше мнение о нем в «Библиографической хронике» этой же книжки «Отечественных записок». – В «Репертуаре» были помещены вполне «Парижские тайны» Эжена Сю. Роман этот наделал много шума во всей Европе, и у нас также, и, несмотря на все

его недостатки, принадлежит к замечательным явлениям современной литературы. Он порожден романами Диккенса и, далеко уступая им в достоинстве, возбудил такой энтузиазм, которого не производил ни один роман даровитого английского романиста: таково уменье французских писателей действовать всегда на массу! Так как с «Парижскими тайнами» только теперь ознакомились многие из русских читателей и так как толки о них еще не прекратились ни в публике, ни в журналах, – то, может быть, мы еще и поговорим об этом романе подробнее в отделе «Критики».<sup>[29]</sup> В «Репертуаре» же переведен рассказ Жоржа Занда «Муни Робэн», весьма замечательный не по сюжету, а по мысли и ее изложению. В «Отечественных записках» и «Репертуаре» помещено по отрывку из Гётева «Вильгельма Мейстера». Отрывок в «Отечественных записках» представляет нечто целое, как то показывает его название «Марианна». О достоинстве перевода нечего говорить: довольно сказать, что он принадлежит г. Струговщикову. В «Библиотеке для чтения» помещен перевод с испанского, сделанный г. Тимковским, прелестной комедии Лопеса де Беги «Собака на сене». В «Репертуаре и Пантеоне» помещен перевод прозою драмы Шекспира «Троил и Крессида».

Из замечательных статей учено-беллетристических в прошлогодних журналах следующие: в «Отечественных записках»: «Дневник камер-юнкера Берхгольца» – живая картина русских нравов времен Петра Великого, писанная очевид-

цем; «Гёте и графиня Штольберг» (эта же статья помещена и в «Репертуаре»); «Философия анатомии», превосходно составленная г. Галаховым статья, представляющая современный взгляд на одно из величайших человеческих знаний; «Пуло-Пенанг, Сингапур и Манила» (из записок русского морского офицера во время путешествия вокруг света в 1840 году) А. И. Бутакова; «Нижний-Новгород и нижегородцы в смутное время» П. И. Мельникова; «Рубини и итальянская музыка» – ва; «Двор королей английских»; «Книгопечатание», «Иосиф II, император германский»; три статьи А. И. Ис-ра<sup>[30]</sup> – «Дилетантизм в науке»; его же «Буддизм в науке» и его же статья «По поводу одной драмы». К числу учено-беллетристических же статей можно отнести и напечатанную в отделе «Сельского хозяйства» «Отечественных записок» – «Табачная промышленность в России» А. В., потому что автор умел придать этой статье общий интерес и изложить ее с замечательной степенью литературного изящества. – В отделе «Наук и художеств» «Библиотеки для чтения» особенно замечательны статьи: «Плен англичан в Афганистане», «Записки о Северной Америке» Диккенса и «Томас Бекет». – «Современник» тоже не имеет недостатка в ученых статьях, особенно касающихся до Скандинавии; но лучшая ученая статья «Современника», равно как и одна из лучших учено-беллетристических статей во всей прошлогодней журналистике, это «Исторические очерки» М. С. Куторги: «Людовик XIV». В «Москвитянине»: «О зако-

нах благоустройства и благочиния, или что такое полиция?», «Смерть Карла XII» – статья, очень хорошо составленная г. Головачевым из «Истории Карла XII», изданной Лундبلادом и Больмером.

По части критики в «Отечественных записках» прошлого года были следующие статьи: «Русская литература в 1842 году», «О сочинениях Державина», «О мертвых душах Гоголя (Голос из провинции)», «Об «Истории Малороссии» г. Маркевича»; четыре статьи: «О Жуковском, Батюшкове и Пушкине»,<sup>[31]</sup> и «О сочинениях Зенеиды Р-вой». Сверх того, в «Отечественных записках» постоянно помещались подробные отчеты о французской, английской и немецкой литературе. В «Москвитянине» замечательна критическая статья «О «Путевых письмах из Германии, Франции и Италии» г. Греча».

Теперь нам следовало бы говорить о духе и направлении русских журналов за прошлый год; но мы уже говорили об этом не раз; а как это дело остается все в том же виде, то лучше уж больше не говорить. Наше дело было указывать на дух, направление и замечательные поступки того или другого журнала. Мы исполняли это в продолжение пяти лет и исполняли усердно, может быть, усерднее, нежели сколько нужно было. Теперь нет надобности в этом: журналов новых нет; а в старых – все по-старому, и говорить о них значило бы повторять сказанное несколько раз. Всякое повторение скучно, а тем более повторение истин, сделавшихся

теперь, благодаря «Отечественным запискам», убеждением большей части образованных читателей. Пусть всякий идет своею дорогою. Наша публика разнообразна до бесконечности, и каждый из составляющих ее слоев найдет, что ему нужно. Пусть все читают, кому что нравится, лишь бы читали. Скажем несколько слов в общих чертах. В «Библиотеке для чтения» лучшим отделом попрежнему была «Смесь», а самыми бедными, сухими и тощими отделы «Критики» и «Литературной летописи». В «Смеси» «Отечественных записок», между переводными, много было и оригинальных, более или менее замечательных статей, каковы: «Поездка в Китай» Дэ-Мина (две статьи), «Два письма из Пекина» В. Горского, «Замечания и анекдоты о южно-африканском льве» г. А. Бутакова, «Сцены из жизни бурят» А. Мордвинова, «Поездка на Алтай» г. Мейера, «Итальянская опера в Петербурге (Рубини, Виардо-Гарсия, Тамбурины, Ассандри, Пазини и Тадини)», «Ответ г. Шевыреву на разбор его «Русской хрестоматии» г. Галахова, «Москвитянин о Копернике» и «Записки Ведрина»;<sup>[32]</sup> прекрасный рассказ г. Н. Ковалевского «Переселение Ивана Ивановича из Гадячского уезда в Миргородский», юмористический очерк «Бал у писарей, или дежурство в новый год»; из переводных особенно интересны: «Семейная жизнь в Соединенных Штатах», «Шутти, или сожигание вдов в Индии», «Патер Мэтью», и проч. – «Современник» с прошлого года выходит ежемесячно, что еще более должно было придать ему интереса. – К числу

прошлогодних литературных новостей принадлежит восстановление «Репертуара и Пантеона»: это издание в прошлом году значительно поправилось, так что представляет теперь собою очень занимательный и пестрый сборник разных статей по части театра, повестей, биографических очерков жизни художников и проч. Если печатаемые им драматические произведения, даваемые на русской сцене, по большей части плохи – это не его вина: он обещался быть, между прочим, и *зеркалом русской сцены*, а по русской пословице «нечего на зеркало пенять, если лицо криво». Зато в нем есть хорошие переводные пьесы и пьески, которые не были даны на русской сцене, и целиком помещены «Парижские тайны» Эжена Сю.

Из этого обозрения читатели могут видеть *фактическое* доказательство, что толстота наших журналов отнюдь не причина крайнего убожества современной русской литературы. Да и что за дело, как появилось хорошее литературное произведение – отдельною книгою или в журнале? Дело в том, чтоб как можно больше появлялось таких произведений. Что касается до журналов – несмотря на их толстоту, наша журналистика бедна, и надо желать, чтоб журналов было больше. Даже в том, что они поглощают в себя все лучшее и замечательнейшее, появляющееся в литературе, есть явная польза: благодаря этому обстоятельству всякое хорошее литературное произведение прочитывается не десятками, не сотнями, а целыми тысячами читателей. Ко-

нечно, такое произведение, как «Мертвые души» Гоголя, не имеет нужды в посредстве журналов для приобретения себе многочисленных читателей; но ведь то – «Мертвые души», одно из таких произведений, которые составляют исключение из общего правила и бывают редким явлением во всякой литературе. Обыкновенно у нас замечательный успех всякой книги состоит в расходе пяти или, много, семисот экземпляров; будучи же помещаемы в журналах (разумеется, не во всех, а в каких-нибудь двух, не больше), они находят себе тысячи читателей. Итак, вместо пустых и неосновательных нападок на журналы, лучше пожелать увеличения их числа и большего их распространения в публике. Следующие стихи, написанные князем Вяземским, назад тому лет пятнадцать и теперь еще новые истиною своего содержания, очень идут к вопросу, о котором мы говорим, – почему мы и заключаем ими нашу статью:

Дай бог нам более журналов:  
Плодят читателей они.  
Где есть поветрие на чтение,  
В чести там грамота, перо;  
Где грамота – там просвещение,  
Где просвещение – там добро.<sup>[33]</sup>

# Примечания

*«Отечественные записки», 1844, т. XXXII, № I, отд. V, стр. 1–42 (ценз. разр. 31 декабря 1843). Без подписи.*

Настоящий обзор в значительной части посвящен характеристике современного состояния литературы и широким историко-литературным экскурсам в двадцатые годы. В заключении статьи критик говорит о произведениях 1843 года.

Белинский начинает с утверждения, что литература находится в состоянии кризиса, книг выходит так мало, что нечего читать. Некоторые объясняют создавшееся положение тем, что толстые журналы поглощают книги. Критик определяет причины «кризиса» литературы значительно глубже. Дело в том, что читатель сороковых годов предъявляет к литературе более высокие требования, чем читатель двадцатых годов. И «литературные сокровища» той эпохи теперь уже не могли бы никого удовлетворить. За два десятилетия русская литература совершила громадный скачок в своем развитии.

Двадцатые годы – это «ультра-романтическое и ультра-стихотворное время», тогда Пушкин не выступал еще как прозаик, тогда широким спросом пользовались «трескучие эффектами и фразою повести Марлинского».

В 1829–1836 годы в русской литературе происходят значительные перемены, совершается резкий поворот от стихов

к прозе. Выходят произведения Гоголя, появляются «Пиковая дама» и «Капитанская дочка» Пушкина. Все это составило «новую, прекрасную эпоху русской литературы», явилось триумфом реализма.

С позиций реалистической эстетики Белинский оценивает «нравоописательные» романы Булгарина, наполненные истертыми «моральными сентенциями», резко осуждает отступления от исторической правды в романах Загоскина, указывает, что Лажечникову, как историческому романисту, вредит то обстоятельство, что он «недовольно отрешился, от старого литературного направления – видеть поэзию вне действительности и украшать правду по произвольно задуманным идеалам». Защита реального содержания в поэзии, борьба с украшательством жизни, свойственным и псевдоклассикам и псевдоромантикам, – в этом пафос «Обзора». Белинский последовательно борется за реализм. Он полагает, что и язык художественных произведений должен отличаться благородной простотой, строгой точностью и ясной определенностью выражения.

С появлением «Миргорода» и «Ревизора» «русская литература приняла совершенно новое направление». Все новые писатели подчинились влиянию Гоголя. Гоголь окончательно убил не только натянутый, «на ходулях стоящий идеализм» (Марлинский), но и «сатирический дидактизм» (Булгарин). Старая сатира носила отвлеченно-моралистический характер, нападая на пороки и слабости абстрактного чело-

века. Оттого никто ее не замечал. Теперь писатели «стремятся изображать действительных, не воображаемых людей». Поэтому они обличают даже тогда, когда не ставят перед собой этой задачи. Существенно изменилось и само понимание природы человека. «Сатирики» рассматривали пороки людей, как нечто индивидуально присущее им, они истолковывали человека в плане этическом, а не социальном, но и морально-нравственные категории у них лишены были всякого общественного обоснования. «Эти добрые сатирики брали человека, не обращая внимания на его воспитание, на его отношения к обществу, и тормозили на досуге это созданное их воображением чучело».

Теперь место героев добродетели и чудовищ злодейства занимают обыкновенные люди, составляющие массу общества. А на смену отвлеченно-моралистической сатире пришли реалистические роман и повесть.

Таким образом, кажущееся на первый взгляд категорическое отрицание Белинским сатиры в действительности означает разоблачение различных «нравственно-дидактических» сочинений догоголевского периода, лишенных серьезного общественного значения, и в то же время утверждение социальной сатиры Гоголя. Это вполне отвечало назначению литературы, призванной, по мнению критика, активно вмешиваться в жизнь и соответствовало тому новому этапу в ее развитии, когда вопросы социальные и общественные приобрели первостепенное значение.

По мысли критика, литература должна быть не только верным зеркалом общества, но и его «ревизором и контролером».

Глубочайшую мысль Белинский высказывает при определении задач комедии как жанра. В основе многих комедий лежат ложные, далекие от жизни идеи, интриги завязываются «на пряничной любви», в них «нет нисколько истины, действительности». В жизни многое происходит иначе. Поэтому источником истинного комизма должна быть сама жизнь.

Характерной особенностью данного образа является то, что Белинский снимает свое отрицательное решение вопроса о существовании русской литературы, подчеркивая со всей силой, что у нас есть литература, литература самобытная, оригинальная, тесно связанная с обществом.

То, что произошло за двадцать лет, – «это успех, а не падение, огромный шаг вперед, а не назад».

В связи с ролью и значением литературы в общественной жизни Белинский определяет задачи литературной критики. Он высказывается за идейную, принципиальную критику. Не личные симпатии или антипатии, а идейные убеждения критика, составляющие «сущность и цель его нравственного существования», должны определять его отношение к писателю или произведению.

Белинский настаивает на историческом изучении литературы, ибо все явления русской литературы «находятся в более или менее живом органически-последовательном соот-

ношении между собою». Нужны большие и обстоятельные статьи, выясняющие творческую деятельность крупнейших представителей русской литературы. Критика должна оперировать доказательствами, доводами, а не бить с плеча или захваливать без меры.

Нетрудно заметить, что эти высказывания Белинского имеют самый живой интерес и в наши дни.

# Комментарии

1.

«Северные цветы» – альманах, издававшийся А. Дельвигом.

2.

Имеется в виду М. Погодин.

3.

Вышел в 1829 году.

4.

«Последний Новик» (1831–1833), «Ледяной дом» (1835), «Басурман» (1838).

5.

«Странник» (1831–1832), «Кашей Бессмертный» (1833).

6.

«Киргиз-кайсак» (1830).

7.

«Семейство Холмских» – роман в шести частях Бегичева (1832, 1833, 1841).

8.

Глубоко отрицательная оценка «Первых опытов»

Бенедиктова была дана Белинским еще в 1835 году в статье «Стихотворения Владимира Бенедиктова» («Телескоп», 1835, т. XXVII. См. т. I наст. изд.).

## 9.

Имеется в виду статья С. П. Шевырева «Критический перечень произведений русской словесности за 1842 год» («Москвитянин», 1843, № 1).

## 10.

Свое намерение Белинский осуществил через девять месяцев. Его статья «Сочинения князя В. Ф. Одоевского» появилась в «Отечественных записках», 1844, т. XXXVI, № 10, отд. V, стр. 37–54.

## 11.

«Арап Петра Великого».

## 12.

До этого в 1835 году, в журнале Сенковского «Библиотека для чтения» была опубликована поэма «Хаджи Абрек», а еще раньше, в 1830 г. – стихотворение «Весна» («Атений»).

## 13.

О Языкове см. в статье «Русская литература в 1844 году» (наст. том).

**14.**

Развернутую оценку Милькеева Белинский дал в рецензии «Стихотворения Милькеева» («Отечественные записки», 1843, т. XXXIX, № 8, отд. VI, стр. 39–45).

**15.**

Реакционный журнал, издававшийся Бурачком.

**16.**

О «Параше» Тургенева см. статью в наст. томе.

**17.**

О Хомякове см. в статье «Русская литература в 1844 году» в наст. томе.

**18.**

Имеется в виду «Библиотека для чтения».

**19.**

Белинский имеет в виду романы Булгарина, в частности «Иван Выжигин».

**20.**

С постоянными нападками на Гоголя выступал Н. А. Полевой. Ему же принадлежим выражение

«малороссийский жарт», примененное им для отрицательной оценки повестей Гоголя.

**21.**

Белинский цитирует статью Сенковского «Сочинения Николая Гоголя» («Библиотека для чтения», 1843, т. VII).

**22.**

Пародирование орфографии Сенковского.

**23.**

О романе Сю «Парижские тайны» см. статью в наст. томе.

**24.**

Намеченной статьи Белинский не написал.

**25.**

См. статью «Русская литература в 1842 году» (в наст. томе).

**26.**

См. примеч. 66 в наст. томе.

**27.**

Белинский в статьях о «Сочинениях Державина» в четырех частях указывал на неполноту этого издания: «не приложено прозы Державина, его писем, рассуждения о лирической

поэзии и проч...»

**28.**

Этими литерами подписывал свои первые произведения И. С. Тургенев.

**29.**

Белинский выполнил свое обещание через три месяца (см. статью «Парижские тайны» в наст. томе).

**30.**

Искандера – Герцена.

**31.**

Из цикла «пушкинских статей» Белинского (см. т. III наст. изд.).

**32.**

«Записки Ведрина», подписанные псевдонимом «Ярополк Водяцкий», принадлежат А. И. Герцену и представляют собой пародию на «Дорожные записки» М. П. Погодина. Часть из этих записок «Год в чужих краях» вышла в 1839 году.

**33.**

Из стихотворения П. А. Вяземского «На новый 1828 год»